Танцующий Аист



Первый парень на деревне 2

Танцующий Аист

Первый парень на деревне 2

«Автор»
2026

Аист Т.

Первый парень на деревне 2 / Т. Аист — «Автор», 2026

Лето в Пропадино вроде бы наладилось. Кикимора дома слушается, почти всегда. Нечисть сама встаёт в очередь и зовёт меня «смотрителем».Одна беда: в доме кто-то ходит. По ночам. Муку у порога обходит, нитку переступает, а гвоздь под половицей чует за версту. За ходоком ползёт дыра и ест всё, что ничьё: ложки, кур, кружки, стулья в клубе. Аппетит у неё растёт.Связи в доме как не было, так и нет.

© Аист Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Фары 5
Глава 2. Сам теперь 11
Глава 3. Без росписи 18
Глава 4. Маленькая услуга 25
Глава 5. Шпилька 31
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Танцующий Аист
Первый парень на деревне 2

Глава 1. Фары

Дверь в сени отошла без звука.

Вчера она скрипела на нижней петле на каждый мой шаг, днём и ночью. Сегодня подалась от одного пальца. Смазать её за ночь было некому. В сенях стояла серая прохлада пятого часа: ночь уже кончилась, утро ещё не пришло. На столе под полотенцем лежал пирог. В десятом часу, когда я ложился, печь остывала, топить её ночью было некому. Пирог был тёплый: полотенце над ним чуть шевелилось от пара, как от дыхания. Пирог мог подождать. Дело, из-за которого я встал в такую рань, ждать не могло: в четверть восьмого уходил ПАЗ.

Телогрейка висела на своём гвозде, с двумя пуговицами из прежних шести. Кроссовки стояли у порога обе; правая внутри ещё не просохла после дна. Телефон лежал в кармане джинсов, где я вчера его оставил: одна строчка в заметках, ни одной палки связи. Строчку надо было подтвердить фотографией до четверти восьмого: бирка на ухе, номер крупно, бычок в каске мелко. С фотографией идут к Каменской. С заметкой в телефоне ходят в сельпо.

С крыльца озеро было видно целиком, от бани до санаторской башенки. Над водой лежал пар, ровным слоем, как молоко в блюдце. В одном месте, у мостков, слой был разорван снизу.

На отмели у мостков стоял грузовик.

Стоял он задом к воде, по ступицы в песке, с поднятым тентом. Из-под тента к воде уходил трос. У троса, в воде по колено, стояли двое в болотных сапогах. Один как раз отцеплял крюк. Делали они это молча, без суеты, как разгружают мебель, за которую уже заплачено.

Я побежал вниз. Крыльцо не качнулось. Калитка открылась сама, раньше, чем я до неё дотянулся, но думать об этом было некогда. По Верхней я бежал посередине. По Центральной срезал через огороды, через чью-то картошку, через чью-то малину. К спуску на Нижний я выскочил с репьями на обеих штанинах. С бугра отмель лежала передо мной вся.

Трос уже был в кузове. Тент опущен, затянут. Один из двоих обходил кабину спереди, второй закрывал борт. Там, где туша вчера вечером лежала мордой на песок, остался мокрый след, широкий, с рытвиной от лебёдки. Песок в рытвине ещё не просох, вода в ней стояла с ладонь.

— Эй! — крикнул я с бугра. Голос у меня с ночи был никакой, но на отмели его услышали: лягушки в осоке замолчали.

Второй, тот, что закрывал борт, не обернулся. Первый сел в кабину. Мотор завёлся с полоборота. Фары зажглись в белом утре зря, для себя. Грузовик пошёл с отмели на колею вдоль берега, тяжело, переваливаясь на корнях. Номера на заднем борту не было. Висела чистая, недавно крашенная жестянка там, где номеру положено.

К отмели я сбежал, когда фары уже уходили в кусты за баней.

У будки проката стоял Потап Ильич. В тельняшке, в сапогах, с мокрой бородой. Стоял он так, как стоят в очереди, которую закрыли перед носом: руки по швам, живот вперёд. С полы капало, но меньше обычного, как у того, кто стоит на берегу не первый час. Он подобрал с мостков весло и стал протирать его ладонью, хотя весло было сухое.

— Ну-ну-ну, клиент. Вот и ты. А я тут стою, как дурак, в тельняшке, и смотрю. Оно ведь как: из-под моей будки берут, из воды, лебёдкой, по-хозяйски. А я ей что сделаю, лебёдке? Я на берегу дядька в тельняшке. На берегу у меня ни зуба, ни права, на берегу я только смотреть могу. Я и смотрел. Спереди смотрел, сзади смотрел. По номеру бы я его нашёл, клиент, по номеру всё можно. А номера нету. Ни спереди, ни сзади. Я два раза обошёл.

— Потап Ильич, вы это видели. Из воды, из-под вашей будки, лебёдкой, в пятом часу утра. — К будке я подошёл вплотную, чтобы он понял, что спрашиваю всерьёз. — Если спросят, скажете?

— Скажу, клиент, как не сказать. Оно ведь как: кто у меня из-под будки берёт, тот у меня потом и спрашивать будет. Спросят, так скажу. И девочки мои скажут, они всю ночь… — Весло он поднял, чтобы показать на мостки, но не договорил: под мостками плеснуло. — Ну-ну-ну, Дунька. А ну под доски. Светло уже, не твоё время. Санаторские с того берега в бинокль смотрят, им только дай.

Под доски Дуня не ушла. С той стороны, где глубже, она высунулась по плечи. Коса у неё лежала на доске, с косы текло. Ладонью она хлопнула по доске так, что с косы полетели брызги.

— Пескарик! А мы её всю ночь тянули. По сантиметру, вниз, к дяде Потапу. У нас по инструкции так: что в воде лежит, то наше. А они подошли без света, задом. Фары у бани погасили, а у воды зажгли, прямо в воду. В сапогах зашли. Глашка за трос схватилась, так её тросом по пальцам. Нечестно это, пескарик. Это я тебе как спасатель говорю. Я бы их самих лебёдкой, за… — Слово она поискала в воде, не нашла и выдохнула: — Айда догоняй! Я бы догнала, да мне по суше нельзя, коса высохнет.

Коса у неё не высохла бы и в печи. Она, по-моему, об этом не знала.

Я присел на корточки там, где лежала туша. Рытвина от лебёдки уходила к воде прямой бороздой. По бокам, глубокие, с водой на дне, остались следы от болотных сапог, с рубчатой подошвой. Больше на отмели не было ничего. Ни бирки, ни пистона, ни клочка жёлтого пластика. Я сфотографировал рытвину. Фотография рытвины к Каменской не годилась, но другой отмель мне не оставила.

Снизу, от сельпо, по Центральной затарахтело.

Коляска вылетела на Нижний с таким звуком, будто её гнали с горы без тормозов. Витёк сидел в седле в кепке козырьком назад, с термосом между коленей. Газ он не сбрасывал до самых мостков. У будки затормозил обеими ногами, сапогами в песок, по-детски.

— Андрюха, я подумал: чего ждать до обеда? И яйца взял. А сковородку не взял, и бензина не взял. Я подумал, ты всё равно до обеда не доживёшь, ты же вчера сидел, как не сидят. Выхожу на балкон, смотрю, а по берегу фары. Фары утром! Кто же утром с фарами ездит? И я думаю: всё, это за ней.

Он выдохнул, посмотрел на отмель, на рытвину, на Потапа с веслом. Кепку с головы снял, как снимают перед покойником.

— Увезли?

Показывать было уже не на что: в кустах за баней оседала пыль. Я всё равно показал.

— Увезли. Только что. Вон туда, за баню, на грунтовку. Без номеров. Тент, двое в болотных сапогах, лебёдка. Догоним?

Витёк посмотрел на меня, на коляску, на термос.

— Садись. Держись за дугу, ногами упрись, голову пригни, там кусты. Я предупредил. — Кепку он надел обратно, козырьком вперёд, по-рабочему.

Я сел в коляску прямо на яйца. Понял это не сразу.

Грунтовка от бани шла вдоль берега, потом сворачивала от воды в лес, к Живину. Пыль ещё стояла в колее. Мы ехали в ней вслепую. Витёк гнал так, как не гонял никогда: ямы не объезжал, брал прямо. Коляска на каждой отрывалась от земли всем колесом. Кусты хлестали по дуге, по кепке, по мне. Одна ветка попала по лицу так, что я на секунду ослеп. За дугу держался обеими руками. Дуга была холодная и дрожала у меня под руками всю дорогу до просеки.

У просеки пыль впереди стала плотнее. Потом в ней показался задний борт: зелёный тент в заплатах, чистая жестянка без номера. Грузовик шёл медленно, ямы он брал ещё хуже

нашего. Витёк крикнул что-то в ветер, я не разобрал. Между нами было метров сто. Потом пятьдесят, по заплатам на тенте я их уже считал.

На переезде перед Живином грузовик встал: шлагбаум был опущен, по рельсам шла дрезина, одна, не спеша. На дрезине сидел мужик в оранжевом жилете, с ведром, и смотрел на нас с тем же интересом, что мы на него: ему тоже редко что попадалось с утра. Витёк затормозил за ним так близко, что я увидел заплаты на тенте по отдельности, каждую. Сердце стучало в горле. Я встал в коляске во весь рост, держась за дугу.

— Эй! Вы! Чьё везёте?

Из-под тента, сзади, откинулся край. Второй, тот, что закрывал борт, выглянул наружу. Лицо у него было самое обычное: небритое, в кепке, какие носят на всех стройках страны. Он посмотрел на меня. Потом на Витька. Долго, по-соседски, как смотрят на знакомого на рынке, когда не решили, здороваться или нет.

Витёк отвёл глаза первым. Вниз, на бак, на свои руки на руле.

Край тента опустился. Дрезина прошла, шлагбаум пополз вверх. Грузовик тронулся так, что пыль накрыла нас с головой. Витёк дал газу тоже. Переезд мы перескочили с таким грохотом, что термос вылетел из-под его колена ко мне в коляску. Там, у меня в ногах, он и остался.

Спросить про глаза было некогда. Спина у Витька говорила, что и потом не стоит.

За Живином, у церкви, грунтовка выходила на шоссе. Грузовик вышел на асфальт и повернул к Краснобойску. На асфальте он стал другим: пошёл гладко, набрал ход. Зелёный тент делался меньше с каждым моим вдохом. Витёк выжал всё, что у коляски было. Было у неё сорок, по спидометру, который врал в нашу пользу. Шоссе пошло в гору. На горе грузовик обошёл лесовоз и встал за ним, как за стеной. За лесовозом он пропал, будто лесовоз его и вёз.

Витёк проехал ещё с километр, по инерции, пока сам не понял. Потом свернул к знаку «Живино» с перечёркнутым названием и заглушил мотор на обочине.

Стало тихо так, что было слышно, как остывает глушитель. Пахло пылью, бензином, а снизу, из коляски, разбитыми яйцами.

— У них номеров нет, Андрюха, а у меня прав нет. — Он вытер лицо кепкой и надел её обратно. — Так что если нас останавливать, то остановят меня. А их не остановишь, их и останавливать нечем: ни номера, ни лица, одна кепка. И бензина у меня на одних парах. Я же тебе говорю: я подумал, чего ждать.

Стрелка на баке лежала на нуле. Лежала она там давно, ещё с Нижнего конца. Всю дорогу нас везла вера Витька в то, что мотор без бензина ходит, если очень надо.

Засмеялся я первый, на обочине, с яйцами на штанах. Витёк засмеялся следом, с облегчением, так, что кепка опять слетела. Отсмеявшись, он заглянул в коляску, на жёлтое.

— Ты ел? Не, ну я же вёз. Десяток, у бабы Поли брал, с утра, с печки. Они бы тебе были. А они теперь тебе и есть, только снаружи.

— Ел, Витёк. Вчера. — Я поднялся из коляски и отряхнул с джинсов то, что отряхивалось. — Сегодня, похоже, в Краснобойске, в столовой при автовокзале. Из Живина ПАЗ в четверть восьмого, я успеваю.

На обочине, шагах в двадцати, кто-то сидел на корточках.

Мелкий. В тех же кроссовках на вырост, с кульком семечек в кулаке, спиной к знаку, лицом к шоссе, сам себе остановка. Увидев нас, он подвинулся по обочине, будто на лавке. Встать ему в голову не пришло: корточки у него были рабочим местом.

— А чё, начальник, догнали? Не, ну я так и думал, что не догоните. Они на грузовике, а вы на этом, ну типа, на Витькином. На нём только до сельпа. Толян сказал присматривать, мы и присматривали. Всю ночь. Я сам присматривал, честно, я же там сидел, на ней, до самых фар. Ну а чё, присмотрели. — Он сунул руки в карманы, вынул и сунул обратно, глубже, будто проверял, на месте ли. — Не уволокли же. Увезли. Это разное, Толян говорит. Уволокли, это когда тайком. А эти с фарами. С фарами, это уже увезли.

У другого я спросил бы, что у него в карманах. С ватагой про карманы говорят после того, как договорились, а договариваться у знака «Живино» было не о чем. Шелуха ложилась ему на кроссовки. Стряхивать её он не собирался, пока не кончится кулёк.

— Передай Толяну, что я видел всё сам. И что к обеду буду дома.

Мелкий посмотрел на Витька, потом на шоссе, потом в кулёк.

— Ладно. Передам. Только Толян и так знает. Толян всегда всё знает, я ему только говорю, ну типа, для порядка.

Над Живином, у церкви, пробило половину седьмого. На остановке у «Пятёрочки», под настоящим расписанием под стеклом, стояли две женщины с рассадой, одной и той же все эти недели. Смотрели они на нас так, как из окна смотрят на соседей, у которых опять что-то случилось. До ПАЗа оставалось сорок минут. За это время мы с Витьком вытрясли из коляски всё, что осталось от яиц, а термос он отдал мне с собой, на дорогу, с чаем, который был сладкий до вязкости ещё вчера.

Расписание под стеклом в Живине не врало: в четверть восьмого ПАЗ подошёл, пустой, с открытой передней дверью. Фары у него горели, хотя солнце стояло уже над церковью. Из двери пахло дизелем и чем-то сладким. Обе женщины с рассадой сели раньше меня, на свои места, с первой минуты принявшись считать ящики вслух, сбиваясь на одном и том же, на седьмом.

За лобовым стеклом, рядом с картонкой «Водитель Глушков В. С.» и рисунком с тортом, стояла теперь фотография: девочка лет семи с ранцем на спине, ранец больше девочки. Валерий Степанович взял деньги, отсчитал сдачу монетами и ссыпал мне в ладонь. Разговор он при этом не прерывал, а начал его, судя по всему, ещё в Краснобойске, с самим собой.

— В первый класс, в сентябре, ранец уже купили, я сам выбирал, со светоотражателями, в хозяйственном взяли, я его ночью в гараже фарами светил, проверял, отражает или врут. Отражает, ещё как. Шагов с тридцати видать. Я с фарами хоть в полдень езжу, у меня принцип: меня пусть видят, а я уж как-нибудь. — Он погладил фотографию пальцем и оглядел меня в зеркало, с репьями и желтком. — А ты никак с ночи, парень? Бегал? У нас по ночам на бугре все бегают, я тебе ещё в тот раз говорил. А ты, гляжу, и утром не унимаешься.

— Утром, Валерий Степанович, у меня ушёл грузовик без номеров, в сторону Краснобойска, зелёный тент в заплатах. Вы его на шоссе не обгоняли? — Я сел у окна, где не дует, на то же место, что в первый раз.

Валерий Степанович тронул, не закрывая дверь. Дверь закрылась сама, на ходу.

— Без номеров я не обгоняю, у меня принцип: без номеров, значит, без тормозов. А тент видел. У столовой стоял, у «Берёзки», с краю, где дальнобойщики. Двое из него в столовую пошли, а третий в кабине сидел.

Третьего на отмели не было.

В Краснобойске у автовокзала стоял автобус с бычком в каске на боку. Контора на комбинате начинала с девяти, автобус возил контору. У двери меня никто не спросил, кто я и к кому. Ехали молча, с папками и телефонами. Комбинат начался за окном, как в прошлый раз, задолго до ворот: забор с колючкой, растяжка «Мясо — это жизнь», две трубы с красными огнями, не гаснущими и днём.

У проходной на бордюре сидели ночные. Человек десять, в спецовках, в сапогах, с закрытыми глазами, спиной к стене. Вахтовка к восьми ушла без них. Валька сидела третьей от двери, со ссадиной на скуле. Спала она сидя, прямо, как спят в карауле. Ноздри у неё шевельнулись, когда я был ещё у шлагбаума. Глаза она открыла позже, когда я подошёл шага на три.

— Озером от тебя. Тиной. И соляркой чужой. — Валька посмотрела на мои джинсы, на желток, на репьи, и глаза у неё сузились.

— Бригадир после смены всех держал. Разбор делал. Про ночь говорить не велел. Всё.

— Валя, озером от меня, потому что я с пятого часа у озера. А разбор про что, если не секрет?

— Секрет. Я сказала: всё.

И закрыла глаза обратно, как будто этим всё было сказано. По-своему, наверное, было.

Серая машина подъехала к шлагбауму со стороны города без пяти девять. Стекло опустилось. Эльвира Ринатовна Каменская сидела за рулём сама: серый костюм, волосы в узел, улыбка, которую было видно раньше лица, как фары в тумане. Удивления в ней не было. Я стоял у неё в ежедневнике, на сегодня.

К машине я подошёл со стороны водителя и наклонился к окну, чтобы охраннику за стеклом не было слышно.

— Эльвира Ринатовна, я к вам, как обещал. Бирка на ухе: жёлтая, пластиковая, на пистоне, номер ноль четыреста семнадцать дробь двадцать три, внизу бычок в каске, ваш. Туша лежала у меня под домом, потом на отмели у лодочной станции. Сегодня в пятом часу её увёз грузовик без номеров, зелёный тент в заплатах, лебёдка, двое в болотных сапогах. Увёз в вашу сторону.

Каменская дослушала до конца, глядя мне в лицо. Потом ответила, с улыбкой, ровным голосом, не повышая его и, кажется, не вдыхая:

— Андрей Павлович, поголовье компании учтено в полном объёме. Падёж и пропажи за отчётный период не зарегистрированы. С учётом этого компания не располагает основаниями считать описанный вами предмет своим имуществом. Однако, если у вас находится имущество компании, в чём бы оно ни заключалось, компания готова принять его в установленном порядке. При условии, что и обратитесь вы с этим в установленном порядке. А до тех пор, вы понимаете, пока.

— То есть пропаж у вас нет. — Я переспросил простыми словами, без юристов, как переспрашивают в поликлинике, когда врач уже сказал, а что сказал, непонятно. — А если я найду то, чего у вас не пропадало, вы его примете.

— Именно так. В установленном порядке и с учётом того, что находка подлежит осмотру. А осмотр, вы понимаете, требует времени. Пока.

Из бардачка она достала тонкий блокнот в клетку и ручку. Ручка не щёлкнула ни разу. Номер она записала с моих слов, мелко, наклонно, в одну строку. Строкой выше, вверх ногами, но разборчиво, стояла моя фамилия с инициалами, как в документе, а после неё, старым почерком, с другой даты: «читает до конца».

Про восьмое июля она не сказала ни слова. Ни про сарай, ни про огород, ни про зону. Восьмое было сегодня. Шло оно у неё за окном машины, по моим джинсам. Записано оно было только у меня, в заметках, строкой выше бирки.

— Предложение, которое вам делала компания, пока не отзывается. — Блокнот она закрыла и убрала в бардачок. — Пока.

Стекло поднялось. Шлагбаум открылся сам. Серая машина въехала на территорию и встала на размеченное место, где на асфальте было написано её имя.

В окне проходной, за стеклом, у охранника на мониторе горело знакомое: «Здраствуйте, соискатель!» с той же опечаткой. Ниже, в графе «фамилия», уже стояла моя. Графу «опыт» он дописывал сам, пока я стоял у шлагбаума. Пропуска мне не выписали. Смотреть, кто прошёл, им было удобнее без пропусков.

Обратно к автовокзалу я шёл пешком по обочине, мимо «Берёзки». С краю, где дальнобойщики, было пусто. На асфальте под тополем лежало пятно от масла и шелуха от семечек. Семечки под тем тополем грызли все, кому было чего ждать.

Вечерний ПАЗ привёз меня в село в десять минут восьмого. У сельпо было ещё светло, а тени от колодезного журавля хватало на полдороги.

День в Краснобойске ушёл на автовокзал, столовую при нём и лавку у «Пятёрочки». На лавке я сидел, пока не кончились мысли, а потом сидел просто так. Телефон на автовокзале ловил. Звонить было некому. Звонить мне хотелось из дома, с лавки под черёмухой. Чужая лавка у чужого магазина для этого не годилась. Эту глупость я позволял себе весь день.

У сельпо стоял Витёк с коляской. Коляска была вымыта от яиц, бак полный: канистру он занял в Живине у знакомых и пригнал коляску домой до обеда, как обещал. На крыльце сельпо, на корточках, сидели двое из троих: Серый с коробком и Толян. Мелкого не было. Галина Семёновна стояла в дверях с кефиром в руке.

— Гонщик. — Сказала она это поверх кефира, никому, и ушла в магазин. Дальше она смотрела на меня через окно, так ей было удобнее.

Смотрели на меня все. С крыльца, от колодца, из окна дома напротив, где всегда висела занавеска, а сегодня занавески не было. На городского с чемоданом так не смотрят. Смотрят так на человека, который вчера утопил тварь, а сегодня гнался за комбинатом на мотороллере, пока не решили, что из этого смешнее.

— Начальник, чисто по-братски. Первое: мы тебе ничего не говорим. Второе: мы тебе ничего не говорили. — Серый подбросил коробок и поймал его за спиной, другой рукой. — А третье ты сам увидишь. Оно у тебя на калитке. И мы к нему, считай, отношения не имеем.

Толян смотрел на дорогу вверх, к моему дому. Руки у него были в мелу по самые запястья.

— Андрюха, я яйца новые взял, у бабы Поли. А сковородку опять не взял. Я подумал: довезу тебя домой, там и разберёмся, кто у тебя на крыльце сидит. Там с утра кто-то сидит, я мимо ехал, не разглядел. — Витёк похлопал по сиденью коляски, на этот раз без яиц. — А ты слушай, пока едем. Приходит мужик к ветеринару. Говорит: у меня корова по ночам уходит, а утром приходит, и вымя пустое. Ветеринар спрашивает: а бирка на ней есть? Мужик: есть, жёлтая. Ветеринар: ну так она не уходит. Она на смену ходит.

Анекдот он рассказал серьёзно, с начала до конца, и в конце посмотрел на меня, проверяя. Проверку я прошёл: смеялся до колодца. Витёк от облегчения добавил газу.

В коляске, пока он заводил мотор, я поставил в телефоне будильник на половину пятого. Просто так. На всякий случай. Туша на отмели больше не лежала, лебёдка ушла, грузовика не было. Но половина пятого стала временем, в которое что-то происходит. Просыпать его я не хотел, даже если будить и правда некого.

Витёк заглянул в экран, прочитал и заржал так, что мотор заглох.

— Туша уехала, Андрюха! Будить некого! Ты кого будить собрался, рытвину?

Он завёл снова. Мы поехали вверх по Верхней, мимо дедовой лавки без деда, мимо колодца, у которого палка в телефоне появилась и пропала. Витёк смотрел вперёд, поверх руля. Калитку мою он увидел первым, потому что я смотрел на лавку, где не было деда.

— Андрюха, — сказал он, сбавляя газ, — там к тебе… все.

У калитки, вдоль забора, по обе стороны от неё, до самой черёмухи, сидели. Сидели на принесённых табуретках, на перевёрнутых вёдрах, на узлах. Баба Поля с бидоном. Домовитов в очках, с карандашом за ухом, на складном стульчике. Двое из будки у теплиц, с термосом на двоих. Кто-то маленький, в фартуке, у самой земли. Трое в зелёном, с краю, отдельно от всех. У каждого в руках что-то было: банка, свёрток, бумажка, курица в корзине. По рядам, из рук в руки, ходила банка с огурцами. Дошла до края у черёмухи и пошла обратно, уже без двух. Сидели они давно: трава под ними была примята до земли, а черёмуха над крайними успела нароняться в волосы.

На калитке, на верхней доске, мелом, печатными буквами Толяна, как по линейке, было написано:

«СМОТРИТЕЛЬ. ПРИЁМ С 9. БЕЗ ОЧЕРЕДИ — ЧЕРЕЗ НАС».

Очередь увидела меня. И встала.

Глава 2. Сам теперь

За место у калитки Серый брал стакан семечек.

Торговал он с корточек, спиной к моему забору, лицом к очереди, негромко, всем сразу и никому в отдельности. Место у самой калитки шло за полный стакан. Место в тени черёмухи шло за полстакана: в тени сидеть приятнее, но дольше. Мелкий ходил вдоль ряда с кульком и принимал плату. Толян сидел на моём крыльце, на верхней ступеньке, и смотрел на угол дома, где нижний венец. Мела на руках у него уже не было.

С этого крыльца я и смотрел на них всех, с кружкой чая, за всё утро не отпив ни глотка.

Очередь за ночь не разошлась. Она переночевала. Табуретки стояли, где стояли, только теперь на них лежали подушки из дому. Под черёмухой на двух вёдрах лежала доска, на доске спал кто-то маленький, в фартуке, накрывшись этим же фартуком. Баба Поля сидела с краю, с бидоном, в платке и в хорошей кофте, в той, в какой ходят в сельпо за гостинцами. Кузьма Демьянович сидел первым, у самой калитки, на складном стульчике, в пиджаке и чёрных нарукавниках, с тетрадью на коленях. Тетрадь за ночь не сдвинулась ни на клетку.

На калитке, на верхней доске, стояло вчерашнее, печатными буквами, как по линейке: «СМОТРИТЕЛЬ. ПРИЁМ С 9. БЕЗ ОЧЕРЕДИ — ЧЕРЕЗ НАС».

Я спустился с крыльца, поставил кружку на столбик и стёр рукавом телогрейки нижнюю строку. Мел по сырой доске размазался в серое. Верхнюю строку оставил: стирать слово, под которым сидит полсела, при этом полселе было бы невежливо. Серый проводил мой рукав глазами.

— Начальник, ты зачем это. Это же было не тебе написано, это было им написано, чисто по-братски, для порядка. Без порядка они тебя вперёд друг друга затопчут, а с порядком затопчут по очереди. Ты теперь сам, пожалуйста, разбирайся, кто за кем.

Коробок он достал из кармана и поставил на штакетину торчком, аккуратно, свечкой.

Толян со ступеньки сплюнул шелуху в лопухи, на угол, где венец.

Мелкий сел на корточки у калитки, с кульком, и сделался первым в очереди сам собой. Я открыл калитку и вышел на дорогу, к ним, чтобы говорить не через забор.

— Доброе утро. Я не судья. Споры по уставу несут деду, не мне, он сам так говорил, при всех, на пальцах считал. Я могу чай вынести, самовар у меня на четверых. А судить у меня в доме некому.

Очередь переглянулась. Словно на остановке, когда новенький спрашивает, ходит ли сегодня автобус, а все уже час знают, что не ходит.

— Дед сказал: сам теперь. — Баба Поля с края сказала это громко, на весь ряд, и поправила платок. — Мы же к нему первым делом, ещё вчера, я лично ходила, с бидоном. Он на лавке сидит, кепку на колено положил, слушать слушает, а потом говорит: сам теперь. Я ему: кто сам? А он на бугор показал, на твою крышу, и налил. Так что мы к тебе, городской. И я не жаловаться пришла, я поглядеть.

Кузьма Демьянович поднялся со стульчика и сложил его одной рукой, привычно, за сорок лет. Говорил он шёпотом. От этого шёпота лягушки в лопухах замолчали.

— Тихо, пожалуйста, молодой человек, не при всех. Я первый, я по очереди, я с шести сижу. Дело у меня простое, даже стыдно с таким приходить, но прийти больше не к кому. Ночной пост у меня в санатории, вы сами меня туда определяли, до первого сентября, и я его несу: сижу внизу, в холле, с тетрадью, смотрю, кто ходит по коридору, и записываю. Так вот, они моют.

Карандаш он снял из-за уха и постучал по дужке очков, один раз.

— Эти. Из-под дач. Ночью. Полы, окна, лестницу до третьего этажа, перила, всё. К утру в санатории чисто, как в первый день, а я с тетрадью сижу посреди этой чистоты, и в тетради

у меня написано: «ходили, мыли». И получается, что я там не нужен. Санитар Бодров так и сказал: «Кузьма Демьянович, вы бы шли домой, тут и без вас блестит». Мы тут с какого года, молодой человек, а они с какого? Я спрашиваю не для себя, я для порядка. Я здесь по старшинству. А они пришли и моют. Даром.

Из-под фартука на доске под черёмухой сказали «не даром». Сказали тонко и обиженно, так что у очереди пропала улыбка.

Фартук откинулся. Под ним сидел маленький, с локоть ростом, бурый, в коричневой рубахе и босой, с метёлкой из прутьев у плеча, прикладом вниз. С доски он не слез, а встал на ней во весь свой рост, и всё равно глядел на меня снизу вверх.

— Не даром. Даром, это когда не надо. Нам надо. Нам миску оставляют. — Метёлку он переставил к другому плечу. — Бурых Бронислав Ефимович, с дач, с четвёртой линии. Моем, потому что грязно, и я прошу прощения, но это невозможно, когда грязно, это же санаторий, туда люди спать приезжают, а там на перилах такое, что я бы не лёг. Миска, это не плата, миска, это уважение, а слово «даром» я прошу назад. У нас за «даром» и за «спасибо» бьют метлой, потому что оба слова врут.

Кузьма Демьянович посмотрел на него сверху вниз, через очки, как смотрят на ученика, решившего задачу верно, но не тем способом.

— А если я вам, Бронислав Ефимович, миску не оставлю? — Я присел перед доской на корточки, чтобы не стоять над ним. — Не из вредности. Просто хочу понять, как это у вас устроено.

— Тогда мы, прошу прощения, вымоем вам дом так, что вы в нём ничего не найдёте.

Сказано это было без злости, как про погоду. Метёлку он опустил прикладом на доску.

— И ещё, раз уж я встал. Эти, с лодок, полощут бельё в заливе, прямо там, где мы воду берём на огороды. Мыло. Огурцы на четвёртой линии горчат, я их сам пробовал, с мылом огурцы, это же нельзя есть. А они говорят: вода общая. А мыло в ней, прошу прощения, чьё?

— Чьё мыло, скажу. — Баба Поля подняла бидон, чтобы её было слышно и видно. — Мыло хозяйственное, из сельпо, Галина его девкам даёт за так, за песню, они ей поют с мостков, а она слушает и мыло даёт. Так что мыло Галинино, вода Потапова, а огурцы, ты не обижайся, дачник, у тебя и без мыла горькие, земля у вас там песок. А я тебе, городской, вот что скажу: у меня прореха была лучше, чем у всех. Та, у школы, с тарелку была, мне Кузьма сам сказал, с тарелку, с ледком. А моя, в погребе, была вот такая…

Она показала руками, как показывают рыбу. Руки разошлись шире бидона, потом шире неё самой.

— И картошка в ней ходила. Своими ногами. Я к тебе не с бедой, у меня с бедой всё хорошо. Я поглядеть, какой ты теперь смотритель, когда дед сказал.

Очередь загудела. Гудела она про своё: у кого течёт, у кого дует, у кого куры несутся не туда, у кого коза на крыше ночует со вторника. Курица в корзине у ног женщины в зелёном платке сказала своё. Двое из будки у фермы, те, что вчера сидели с термосом на двоих, стояли с краю и слушали. На слове «смотритель» старший кивнул младшему. Оба пошли вниз, к Центральной, не допив чай.

Слово это я в тот день ни у кого не спрашивал. Его передавали у меня за спиной из рук в руки, как вчерашнюю банку с огурцами. Ответ я уже слышал: дед сказал.

— Давайте так. — Я поднялся с корточек и говорил на весь ряд, не громко, но так, чтобы дошло до черёмухи. — Я сегодня приду к каждому и посмотрю сам. К вам, Кузьма Демьянович, в санаторий ночью, с тетрадью, посижу рядом. К вам, Бронислав Ефимович, на четвёртую линию, огурцы попробую. К Потапу Ильичу на мостки. А судить я никого не буду, потому что не умею, а делать вид, что умею, при вас не хочу. Если мало, то с самоваром оно не станет больше.

Кузьма Демьянович раскрыл тетрадь, вывел в ней карандашом что-то маленькое, в одну клетку, и закрыл, притворив ладонью, как дверь. Бронислав Ефимович слез с доски, протёр фартуком место, где стоял, и ушёл в лопухи без «спасибо» и без «до свидания». Кажется, он был доволен. Очередь стала расходиться, не торопясь, с табуретками. Серый собрал с штакетины коробок и сдул с него пыль.

— Чисто для сведения, начальник, первое: места до завтра, второе: семечки обратно не принимаем.

Коробок он сунул за ухо, под кепку.

— А третье ты сам видел. Это у них называется «смотритель сказал: придёт». Они теперь ждать будут.

В сенях, на гвозде рядом с телогрейкой, висела чистая рубашка, выглаженная, с воротником. Такой рубашки у меня не было. Хозяйки видно не было тоже. Рубашку я надел.

Дед сидел на лавке под черёмухой с кепкой на колене и наливал в крышку от термоса. Авоська стояла у ноги, в авоське была одна бутылка, початая. Стакан он достал из кармана пиджака, поставил на лавку рядом с собой, на белый круг, и налил туда тоже. Это было приглашение. Я остался стоять.

— Почему ко мне? Ты же сам говорил: споры к тебе. На пальцах считал, при всех.

Бровь у деда поднялась. Одна, левая, на «ты». Поднялась и опустилась, как шлагбаум на переезде, когда дрезина прошла. Больше он никак не отозвался: отпил из крышки и крякнул.

— Вот у Клавдии Петровны, значит, муж был, а? Покойный. И живой. Это я к тому, что и так бывает. Так вот у Клавдии, значит, в сорок седьмом году корова на чердак залезла, по лестнице, сама. Стоит на чердаке, мычит, а вниз не идёт. Клавдия ко мне. Я ей говорю: а я-то что, Клава, я не ветеринар, я тут выпиваю. А она мне: ты же её не загонял? Не загонял. Тогда ты и снимай. Логика.

Он подмигнул крышке от термоса и долил.

— Вот и тут логика. К тому несут, кто тварь утопил. Утопил ты. Я на берегу стоял, на мостках, с бутылкой, я на пенсии. А на пенсии, городской, чего хочешь делать можно, кроме одного: работать.

— Я не умею, дед. Я не знаю, кто с какого года, кто кому миску должен и чья это вода в заливе. Я три недели как прописан.

— А кто умеет, а? — Он поднял палец, подержал и опустил его на кепку. — Думаешь, я умел? Я сел на эту лавку, налил и начал решать. Решил раз, решил два, на третий они сами стали решать, лишь бы ко мне не идти, потому что я, когда решаю, бывает, что и не то решу. Вот и ты. Сам теперь.

Два слова он сказал мимоходом, между коровой на чердаке и тем, что собирался сказать дальше. Сказал и допил. Я понял их не сразу, а когда понял, спорить уже было не с чем: он уже говорил, как Клавдиину корову снимали вчетвером с баяном, потому что без баяна она не шла.

Корову сняли. Дед надел кепку, взял авоську и пошёл вверх, к моему дому, не оглядываясь, идёт ли кто за ним. Я пошёл. У моей калитки он притормозил, посмотрел на серое на нижней доске и на оставленное «СМОТРИТЕЛЬ» на верхней и хмыкнул носом.

— Соли дай. Яйцо у меня сварено, а соли нет.

Соль у меня стояла на кухне, на полке, в банке с запиской «Соль — тут». В кухне было натоплено, пахло пирогом и сушёной мятой. Дед зашёл следом, не разуваясь, в галошах, и остановился между печью и столом. Хозяйки видно не было. Ухват стоял в углу. Половик у печи был отвёрнут. Под ним лежал люк: крышка на кованом кольце, два гвоздя по краю, записка химическим карандашом.

— Не разуваясь, значит, ты сюда, а? Ладно. Иди сюда. Разуваться тебе не надо, ты дома. — Он присел у люка на корточки, кряхтя, и похлопал по половице рядом с собой: садись. — Ладонь клади. Не на кольцо, на доску. Вот сюда, где щель. И слушай. Не лезь, слушай. Ну?

Доска под ладонью была тёплая, от печи. Щель между ней и рамой была с палец. Из щели тянуло, как тянет из погреба, когда приоткроют крышку: землёй, сыростью, темнотой. Из этого люка тянуло каждую ночь с первого дня, и к сквозняку я привык. Я стал слушать, не зная, что слушают в таких случаях.

Под ладонью, в доске, что-то отозвалось.

Не звук. Доска не дрогнула, гвозди не шевельнулись. Просто ладонь поняла, что под ней не пустота. Ладонь на груди спящего тоже понимает, что он дышит, хотя дыхания не слышно. Там, внизу, было большое, и оно знало, что на нём ладонь. Оно лежало и слушало меня, как я слушал его.

А потом из щели потянуло холодом.

Не погребом, не сыростью. Холодом, как из открытой форточки в январе. В натопленной кухне, в июле. Пальцы у меня на доске стали чужие. Я их не убрал.

Дед протянул руку и положил ладонь рядом с моей, на ту же доску, тыльной стороной вверх. Подержал. Потом отнял руку, вытер её о колено и стал ставить крышку от термоса на стол. Стол он промахнулся: крышка стукнула мимо края и покатилась по полу, в угол, к ухвату. Дед за ней не пошёл. Я тоже.

— Выстужен, — сказал он доске. Прибаутки в голосе не было. — Через тебя ходят, городской. Ходят. Ходят, значит, не заперто.

— Кто ходит, дед?

— А я почём знаю, кто. Я тут соль беру. — Он поднялся с корточек, долго, в два приёма, держась за стол, и голос у него вернулся обратно, ворчливый, лавочный. — Я тебе что сказал? Слушай, не лезь. Вот и слушай. Запертый узел, он тёплый, он лежит и греет, как кот. А твой холодом тянет. Значит, с той стороны дверь кто-то не затворяет. Или затворяет, да ходит, а дверь на ходу не греется, а?

— Он что, бесхозный? Узел этот.

— Был чей-то. — Дед подобрал банку с солью, посмотрел на «Соль — тут», отсыпал себе в бумажный кулёк из кармана, больше, чем надо на одно яйцо. — Теперь ты смотришь. Чей узел, тот за него и отвечает, я это на пальцах считал, ты сам сказал, при всех. Потекло, чини. Ходят, узнай, кто. А я пошёл, у меня яйцо.

В дверях кухни он остановился, постучал ладонью по косяку, два раза, как стучат по плечу, и ушёл в сени, в галошах, с солью. Дверь в сени за ним отошла и закрылась сама, без звука. Крышка от термоса осталась лежать у ухвата, донышком вверх.

Ладонь я с доски снял. Пальцы отогревались долго и ныли, как с мороза. Половик положил обратно, на место, так, как он лежал: хозяйка свой половик знала. Люк я обошёл по краю, как обходил в первый день, когда подпол был сыростью и крысами. Крышку от термоса поднял и поставил на стол, тоже на край. С края она не упала.

На воротах коровника висели две таблички, одна над другой.

Верхняя была казённая, пластиковая, с белыми буквами по синему: «Объект передан в аренду. Основание: договор. Копия в проходной». Нижняя была деревянная, с выжженными буквами, кривыми, но торжественными: «Исконно». Под нижней кто-то повесил пучок сушёного клевера, перевязанный красной ниткой. Пластиковую кто-то пытался отодрать: угол у неё был отогнут и прикручен обратно проволокой.

Четвёртая линия дач начиналась сразу за коровником. Огурцы на ней росли у всех, по шпалерам до крыш, так что самих дач за ними было не видно. Я сорвал один, с крайней шпалеры, у калитки с номером четыре. Огурец горчил. Горчил он так, как горчат огурцы, когда в июле неделю не льёт дождь. Мыла в нём я не нашёл. Бронислав Ефимович, по-моему, пробовал свои огурцы тем же, чем мерил перила в санатории.

Будка у фермы гудела по-летнему, жарко, табличка с черепом висела, где висела. У окошка на лавке сидели две бабки с паспортами в пакетах. Окошко было открыто. Из окошка на

меня смотрел Леонид Ванович Чжан, бывший писарь, начальник проходной, в белой рубашке, с чёрными нарукавниками, как у Кузьмы Демьяновича, только у него они были не из педагогики, а по форме.

— Гражданин Ладыгин. Заявитель. — Он сказал это так, как объявляют остановку, и обеими руками выровнял на столе стопку бланков. — Утром ко мне поступило устно: в очереди на Верхней произнесено «смотритель». Произнесено не вами. Произнесено в отношении вас. Устно к форме не подшивается, но я не могу допустить, чтобы в поселении существовало лицо, которого нет ни в одной графе. Это брак. Поэтому.

Он привстал со стула, не до конца, как привстают, когда в зале играют гимн, а зал большой и вставать неудобно. Печать взял обеими руками. Квитанция под ней была пустая: ни фамилии, ни суммы, ни даты, одна розовая бумажка под копирку, из тех, что выдают за лодку. Печать легла по центру: иероглифы по кругу, колосок посередине.

— Вот, заявитель. Теперь вы существуете. — Квитанцию он протянул в окошко двумя руками, и лицо у него сделалось почти нежным. — Это не документ. Это, чтобы вам было понятно, бумага. В графу «кто» я впишу позже, когда поступит основание. Пока основание не поступило, бумага с печатью лежит у вас, а не у меня, и это уже, согласитесь, разница.

Бабки на лавке посмотрели на розовую бумажку у меня в руке с уважением. Взял я её не с первого раза. Пальцы после люка ещё не отошли, бумажки в них не чувствовалось. Я поблагодарил и положил её в карман джинсов, к телефону, где лежала заметка про бирку. На ощупь обе бумаги были одинаковые: что-то есть, а что именно, никому не докажешь.

— Леонид Ванович, а коровник, раз уж я тут. На воротах две таблички, одна на другой.

— Договор аренды, заявитель, с печатью, в двух экземплярах, один у меня. — Он сел обратно и выровнял стопку ещё раз. — А «исконно» не форма. «Исконно» это, с позволения сказать, настроение. Настроение на воротах висеть может, я не против настроений. Но в графу оно не идёт. Следующий.

За спиной у меня, от коровника, тянуло навозом, сеном и чем-то сладким, как от клевера, только гуще. В проходной это, по-видимому, называлось настроением.

На крыльце ФАПа чихнули.

Чихнул Кузьма Демьянович. Стоял он на пандусе, по которому никто не ездил, с тетрадью под мышкой, и чихал три раза подряд, мелко, в платок, отвернувшись к стене, чтобы не на людей. Увидев меня, он прижал платок к носу и кивнул: ночью, в санатории, как уговорено. Шёпотом добавить ничего не смог, только показал пальцем на дверь ФАПа и на нос. Нос у него был красный.

В приёмной на трёх стульях сидели трое и чихали все трое: баба Поля с бидоном, женщина в зелёном платке без курицы и незнакомый старик в кепке с надписью «Румянец». Из кабинета, через открытую дверь, Алевтина Сергеевна сказала «следующий». Следующим оказался я: все трое показали на дверь одновременно.

Она сидела за столом в халате поверх свитера, в колпаке, с очками на цепочке. Перед ней лежал лист в клетку, расчерченный её почерком на столбцы. Тень на стене за ней сидела тоже, горбатая, и держала на коленях что-то вроде клюки. Тень не чихала.

— Садитесь, молодой человек, не на кушетку, на стул, вы не больной, вы по другому вопросу. Я, поскольку вы всё равно пришли, сразу к делу. У кого течь, у того насморк. В июле.

Очки она сдвинула на кончик носа и повернула лист ко мне. Столбцы были: «кто», «где живёт», «с какого числа». Четвёртой строкой стоял старик в кепке «Румянец», и напротив него было написано: «санаторий, подвал, по словам».

— Это, во-первых, статистика, во-вторых, физиология, а в-третьих, я это вывела ещё в прошлом месяце, когда вы приносили мне свой список, помните, ночью, у крыльца. Я тогда переписала вашу бумажку своим почерком, и у меня сошлось: Полин погреб, школа, будка. Все трое чихали. Сейчас чихают четверо, и четвёртого в вашем списке не было.

— Кузьма Демьянович чихает с воскресенья, поскольку сидит у них в холле, а холл над подвалом, а в подвале у них течёт давно. Пелагея Прокловна чихает по привычке, у неё зашто-пано, но она, поскольку ей нравится, продолжает. Ваш дом в списке не значится. — Она сняла очки и дала им повиснуть на цепочке. — У кикимор это не насморк, у кикимор это жар. Но в пределах. У вашей, по-моему, в пределах. Я вас об этом не спрашивала, молодой человек, и вы мне не отвечали, я записала сама.

О хозяйке я её ни о чём не спрашивал. Она знала, что не спрашивал, и смотрела на меня, как смотрят в карточку, где уже всё написано и ждут только подписи.

— Руку покажите. Правую. — Она взяла мою ладонь за пальцы, как берут градусник, повернула к окну и отпустила. — Белые. Это не с мороза, поскольку в июле с мороза не бывает. Это оттуда, где вы её держали, молодой человек, и держали долго, я по ногтям вижу. Записы-вать не стану, это не мой столбец. Но вы её в следующий раз так долго там не держите.

Пальцы я спрятал в карман телогрейки. Там они были ничуть не теплее.

Градусник лежал на столе, у края, в стаканчике. Стаканчик стоял далеко от её руки и от моей. Он стоял себе, стоял, а потом упал со стола, сам, не покачнувшись, прямо вниз. Градус-ник из него выскочил и разбился о линолеум. Ртуть покатилась по полу шариками, к двери, в сторону Верхней.

Алевтина Сергеевна посмотрела на ртуть без всякого выражения. Потом достала из стола тетрадный лист и написала на нём что-то короткое, в одну строку.

— Третий за неделю. Я записала. — Лист она сложила и убрала в ящик, к другим. — Вы мне, молодой человек, вот что: с насморочными пройдите сами, у кого что течёт, посмотрите. Наблюдение у вас домашнее, его я не отменяла, продолжается. Приём до трёх, следующий.

На крыльце Кузьмы Демьяновича уже не было. На пандусе, у перил, сидел Потап Ильич, в тельняшке, в сапогах, с мокрой бородой и с оцинкованным ведром между коленей. Ведро было полное, с колодезной водой, не с озёрной: вода в нём стояла прозрачная, без ряски. Бабки от сельпо смотрели на Потапа Ильича с ведром, не стесняясь.

— Ну-ну-ну, клиент, вот и ты, а я тебя с утра на Верхней искал, а там, говорят, очередь, а я в очереди не стою, я на берегу стою. — Весла при нём не было, поэтому он протирал ладонью ручку ведра. — Оно ведь как: девочки мои за водой колодезной просят, на чай. На чай, говорят, колодезную надо, колодезная сладкая. Вот я и хожу. Водяной за водой. Смешно тебе? Мне тоже.

Ручку ведра он протёр ещё раз, хотя она была сухая.

— А ещё Дунька сипит. С той ночи сипит, со свистка, а за ней и Глашка, та не от свистка, та от крика, кричала она на этих, с тросом. Ты мне про мёд вчера не договорил, а я и не спрашивал, это же…

Он махнул мокрой рукой, не договорив.

Банка мёда у меня была с собой, в кармане телогрейки, с утра, из сеней, с полки за солью: тёмного, тягучего, с пробкой из газеты. Я достал её и поставил на край ведра, на ручку, чтобы он взял сам.

— Для горлышка, Потап Ильич. Дуне, и Глаше тоже, пусть делят. Это не по счёту и не по квитанции. Это, как вы сами говорили, по-соседски.

Банку он взял двумя руками, как берут что-то живое. Пробку понюхал, кивнул и спрятал банку за пазуху, в тельняшку, где с полы капало.

— По-соседски, клиент, это самое дорогое и есть. По счёту я с тебя бутылку возьму и забуду, а по-соседски я тебе ещё должен останусь, и это, заметь, навсегда. — Ведро он поднял, воду не расплескал. — Ты, говорят, теперь смотритель. Кто сказал, я не спрашиваю, дед на лавке, больше некому. А ты с мостков на меня не кричи, ты ко мне подойди, я на берегу всегда.

У колодца я встал на левую сторону плиты и поднял телефон над головой. Палка появи-лась, одна, как всегда, подрагивая. Я открыл «Озон», пока она держалась. Антенна-усилитель,

для дома, с креплением на конёк, «до двадцати километров от вышки», с отзывами от людей, у которых тоже не ловило. Пункт выдачи один: сельпо, Галина Семёновна. Привоз в понедельник. Я оплатил с карты, на которой ещё что-то было. Палка пропала, как только прошла оплата, будто ждала.

Сзади затарахтело. Витёк подъехал к колодцу с коляской, полной санаторских тёток в панамах, и остановился так, что тётки качнулись все разом.

— Андрюха, ты антенну, что ли? Я по лицу вижу, ты так на телефон смотришь, когда заказываешь. — Он снял кепку и почесал под ней. — У бабки моей на крыше была, и она Финляндию ловила, по-ихнему говорили. Ты только бери с усилителем, без усилителя это просто железка на крыше, птицы сядут, и всё, я предупредил. А тётенек я в санаторий отвезу и к тебе заеду, яйца у меня опять есть.

Тётки в панамах смотрели на журавль, на бабок с вёдрами и на Потапа Ильича с ведром. Одна из них сказала «как в кино». Витёк дал газу. Санаторские уехали смотреть на баню.

Ночью в доме было тихо так, как тихо бывает, когда все звуки на месте. Ходики шли. Печь остывала, потрескивая. За печью не пряли, но и не спали: оттуда слышалось, как перекладывают кудель, с места на место, без дела. Ёж в ногах не шевелился. Окошко за печью, в огород, было открыто на форточку, от жары. Белая ночь шла на убыль: в полночь за окном было светло, но уже серым.

Я лежал и слушал ладонью.

Ладонь лежала на одеяле, а слушала доску. Доску на кухне, за стеной, под половиком. Холод из неё в спальню не доходил. Доходило другое: то большое, внизу, лежало и знало, где я. Думать об этом было нельзя, засыпать с этим было можно. Я почти заснул.

Из-под окна, из огорода, снизу, из грядки, где у хозяйки сидел лук, тонко, ласково и очень знакомо позвали:

— Погости… Погости у нас…

Голос был бабы Поли. С её хрипотцой, с её удовольствием. Баба Поля жила на Нижнем конце, через всё село, за сельпо. Грядка была моя.

Глава 3. Без росписи

Хлеб-соль хозяйка собрала мне сама, не спросив, куда я иду.

Горбушка лежала на лавке в сенях, на чистой тряпице, коркой вверх. Рядом стоял спичечный коробок, полный соли до краёв. Рядом с коробком лежал моток кудели с костяной иглой, воткнутой в бок. Всё это появилось к вечеру субботы, пока я ходил к колодцу за водой. Разговора о том, что я собрался в полночь к бане, у нас не было. Разговора о том, что ночью меня зовут из луковой грядки голосом бабы Поли, тоже не было. Хозяйка знала и так: окошко за печью выходит в огород.

Пятницу я проходил по обещанному.

Ночь просидел в холле санатория на кожаном диване под фикусом. Кузьма Демьянович сидел на соседнем, в пиджаке и чёрных нарукавниках, с тетрадью на коленях и карандашом наготове. Санитар Бодров спал у себя за стеклом, носом в журнал. Холл стоял тёмный. Горела одна лампочка, над лестницей. В её свете было видно, что лестница сухая. До трёх часов она была сухая.

В три на лестнице стало мокро. Не сразу вся, а ступенька за ступенькой, сверху вниз, как будто кто-то спускался с ведром и ронял по капле на каждую. Никого на лестнице не было. Перила заблестели. Запахло мылом, хозяйственным, тем самым, из сельпо. Кузьма Демьянович раскрыл тетрадь, посмотрел на часы над дверью и написал, не торопясь, одну строку. Я прочёл её сбоку: «Третий час. Ходили. Мыли».

— Вы их видите, Кузьма Демьянович? — спросил я шёпотом, потому что громко в этом холле не говорилось.

— Не вижу, молодой человек. Сорок лет в школе, а здесь без году неделя, и не вижу. — Карандаш он положил на тетрадь, вдоль строки, как кладут указку. — Вижу, что мокро. Вижу, что чисто. И пишу. А кто мыл, в графе не стоит, и от этого, прошу прощения, у меня портится почерк.

Я посмотрел на лестницу, на перила, на мокрые ступеньки, которые сохли снизу вверх, и на тетрадь, где до первого сентября была бы записана каждая ночь.

— Тогда вы там и нужны, Кузьма Демьянович. Они моют, вы пишете. Без вашей тетради никто не узнает, что они мыли, а без них вам нечего писать. — Сказал я это не как судья, а как человек, который три часа просидел под фикусом и хочет спать. — Бодрову так и передайте: смотритель сидел и видел. Пусть блестит.

Кузьма Демьянович подумал, снял очки, протёр их краем нарукавника и надел обратно. Потом дописал в строку два слова, мелко, и закрыл тетрадь ладонью.

Что он там дописал, пусть останется между ним, мной и фикусом.

Днём я прошёл четвёртую линию дач от первого дома до последнего. Постоял на мостках у Потапа Ильича. Дуня сипела, Глаша сипела, мёд им помог, но не до конца. К вечеру заехал Витёк с яйцами, как обещал. Яичницу мы съели из девяти штук. Девять яиц на двоих, по его словам, это по-деревенски. По-городски это была бы неделя.

Из грядки меня звали и в пятницу. Тише, чем в четверг. Но звали.

Баню на Нижнем топят по субботам с двух. К половине второго на крыльце уже сидели четверо с тазами, каждая против трёх остальных.

Я спустился с Верхней тропкой, мимо поленниц, с пустыми руками. Таза мне сегодня не нужно было. Мне нужен был Евсей Кузьмич до того, как к нему придёт всё село. Всё село сидело на ступеньках в платках, с вениками, со своим мылом в сетках, а смотрело на меня так, будто я тоже за паром, да ещё без очереди.

Зинаида сидела на верхней ступеньке, с краю, на своём тазу, перевёрнутом. Клавдия Петровна сидела на нижней, но у самых дверей. Баба Поля сидела посередине, в хорошей кофте,

с веником на коленях. В бидоне у её ног плескалось. Четвёртой была почтальонша, без очков. Она щурилась на всех по очереди, а на меня дольше других.

Клавдия Петровна подвинула таз ногой ближе к порогу, точно на ширину ступни.

— Ты, Зина, на тазу хоть до вечера сиди, а первый пар не твой, первый пар хозяйский, а второй пар того, кто у двери, а у двери я. Я с утра пришла, я с одиннадцати тут. У меня муж в сорок девятом так на почте за посылкой стоял, с ночи, и получил. А ты в сорок девятом ещё под стол ходила, тебе откуда знать, как стоят.

— Мне оттуда знать, Клава, что ты в сорок девятом вперёд лезла, мне мать рассказывала, а мать твоей матери в школе училась, так что ты мне не рассказывай про посылку. Первый пар хозяйский, верно. А второй мой, потому что я таз поставила. Таз, он что? Таз, он место держит. Вон хоть у городского спроси. Он у них в городе по очередям учёный.

Зинаида с таза так и не встала. Все четверо разом посмотрели на меня. Баба Поля посмотрела дольше всех, с удовольствием, как смотрят на человека, о котором вчера говорили.

— Я, Зинаида Фроловна, в очередях учёный только стоять, а судить в них не учёный, у нас в городе за это отдельные люди есть, в форме. — Я поднялся на крыльцо между ними, боком, никого не задев. — Вы тут без меня, пожалуйста, разберитесь, кто у двери, а кто на тазу. Мне к Евсею Кузьмичу на минуту, не за паром, а по делу. Вечером я, если пустят, в мужской пар приду, как все, с тазом.

— А ты бы, милый, в первый пар и шёл. — Баба Поля качнула бидоном. — Тебе теперь можно. Хозяйский.

Четверо засмеялись. Дверь за моей спиной открылась сама.

В тамбуре было темно и тепло, печным теплом, с которого всё только начинается. Евсей Кузьмич сидел на табурете у тумбочки, в ватнике, в валенках, при июле. Из-за ворота у него шёл пар, тонкой струйкой, вверх, под потолок. Журнал в клеёнке лежал на тумбочке закрытым. Карандаш на верёвочке висел с края тумбочки, покачиваясь.

— Гражданин, вы рано, пар с двух, первый пар хозяйский, в него никому, второй женский до пяти, вас с тазом не пущу, у меня таблица на двери, а таблицу я не для себя писал. — Он посмотрел на мои пустые руки. — А без таза это другое дело. Без таза это посидеть. Садитесь на лавку, только не на ту, где веники. Веники запарены с утра, они отдыхают.

Я сел на ту, где не было веников. Лавка была горячая. Над ней на гвозде висела та же таблица, что на двери, переписанная ещё крупнее, для тех, кто внутри уже ничего не читает. От каменки за двумя стенами шло тепло, ровное, с треском.

— Евсей Кузьмич, я к вам вот с чем. Сегодня в полночь я пойду. Один, без сопровождающей, вы меня пишите в прописанные, как положено. Хлеб-соль принесу. Это первое. — Я сложил руки на коленях, чтобы они не лезли к карандашу. — А второе такое. У меня дома, в огороде, с четверга зовут. Из грядки. Голосом, который живёт на другом конце села, а сейчас сидит у вас на крыльце с веником. Я хочу знать, ходил ли кто в последние ночи через вас в мою сторону. Если это не секрет. Если в журнале такое пишется.

Евсей Кузьмич взял карандаш, но журнал не открыл. На закрытую клеёнку он посмотрел, как на остывшую каменку.

Пар из-за ворота у него пошёл гуще.

— Пишется, гражданин, всё пишется, кто входит, тот пишется, а кто не пишется, тот не входит, а проходит. Намедни опять прошло без росписи. Не вчера, вчера я спал. В ночь с четверга. Дверь настежь, предбанник выстужен до того, что зеркало отпотело, а каменка не держит. Каменка у меня с четырнадцати ноль-ноль до полуночи держит, хоть министра парь, а тут к одиннадцати уже сырость, полок мокрый, веник с гвоздя снят, обратно повешен не тем концом. Маленький кто-то. Веник высоко висит, а снял снизу, за комель. Подпрыгивал.

Карандаш он послюнил. Писать ему в журнале было нечего.

— Кто, Евсей Кузьмич?

— А вот это, гражданин, самое поганое и есть. — Он положил карандаш на клеёнку, вдоль края. — Не пишутся те, кто знают чего. У меня тут восемьдесят лет каждая курица расписывалась, Полкан расписывался, лапой, а это ходит и не пишется. Я вахтёр. Мне не положено не знать. Я должен графу видеть, а графа пустая. От пустой графы у меня каменка стынет, вы это понимаете? Поймаю, посажу в предбаннике сохнуть, пусть в ватнике сидит до третьего пара, на верхний полок такого не пущу, такому и нижний много. Вы, гражданин, идите домой, спите до полуночи. В полночь приходите, задом, хлеб-соль на тумбочку. А я подумаю. Нет, не подумаю. Я подтоплю.

С крыльца, через дверь, было слышно, как Клавдия Петровна передвинула таз ещё на ширину ступни. Зинаида на это сказала всё, что об этом думала, в три фразы. Ни одной из них я бы не повторил при Алевтине Сергеевне. Евсей Кузьмич прикрыл глаза. По его лицу было видно, что каменка у него держит и этих.

Полночь у бани наступает на минуту позже, чем в телефоне. Я поставил будильник на два звонка, по науке Витька: один на телефонную полночь, второй на банную.

Нижний конец спал. У Клавдииной бани на скамейке стоял перевёрнутый таз: место он держал и ночью. Белая ночь уже не была белой: за озером стояла серая полоса, в ней угадывался берег. Баня дышала теплом в траву. Евсей Кузьмич на табурете не спал. Журнал лежал открытым на чистой странице. Карандаш он послюнил заранее, пока меня ждал.

— Хлеб-соль на тумбочку, гражданин, горбушкой кверху, соль не рассыпать. Распишитесь напротив галочки, в графе «сопровождающая» прочерк, прочерк ставлю я, не вы. — Он перевернул страницу назад, посмотрел на пустую строку над моей прошлой росписью и подул на неё. — Обратно лицом. «Спасибо, хозяин», громко, не бормотать. А наследит кто при вас, вы мне скажите. Я его в графу впишу сам. Задом.

Я положил горбушку коркой вверх. Коробок соли поставил рядом, не рассыпав. Расписался против галочки, как всегда, своей рукой, в своей графе. Два шага задом через порог мыльни. Уши заложило. Звук села накрыло ведром. Половица под пяткой стала сухой и старой. Запах пара сменился запахом старого дома, в котором давно никто не топил.

Баня в Изнанке стояла та же, только с другой руки. Дверь здесь открывалась внутрь. Я вышел через неё на Нижний конец и пошёл вверх, к Центральной, держась от поленниц подальше.

На Центральной мне перебежало дорогу что-то с курицу. Серое, без перьев, на тонких ножках, оно бежало вдоль забора Зинаиды, прижимаясь к штакетнику. На бегу оно бормотало одно слово, моё, вчерашнее, с калитки, то, которое я не стирал. У поворота на Верхнюю оно было уже с гуся. Я на него не смотрел. В Изнанке на такое не смотрят: вырастет.

Дом мой в Изнанке был старше и ниже. Наличники в три ряда. В кухонном окне горел печной свет, жёлтый. В окне стояла хозяйка.

Ростом с кочергу, в сбитом платке, с ухватом поперёк, обеими руками. Она стояла на полу кухни, на том месте, где у меня под половиком лежит люк, а здесь лежала дверь. Меня она увидела сразу. Ухват не подняла. Просто смотрела, сверху вниз, из окна, как смотрела на Купалу.

Я прошёл калиткой, которая открылась не в ту сторону, вдоль дома, под кухонное окно, к грядке.

Грядка дышала.

Лук в Изнанке сидел в земле теми же ровными рядами, только перья смотрели вниз, в землю, а луковицы торчали наружу, белые, как бусины. Между рядками земля поднималась и опускалась, медленно, как бок у спящего. Посередине грядки, вдоль, шёл разрыв. Не яма, не нора. Земля там разошлась, как расходится ткань по шву. Края разрыва, мокрые, тёмные, в тине, шевелились.

Из разрыва меня позвали.

— Погости… Андрюшенька, погости у нас…

Это была баба Поля. С хрипотцой, с удовольствием, с бидоном в голосе. Я присел у грядки на корточки, вынул иглу из мотка и начал продевать кудель в ушко. Пальцы не слушались. Ушко было костяное, маленькое, нитка лезла мимо.

— Андрюха, заходи, чего ты там, я яиц взял, и сковородку взял, и… и всё взял, заходи.

Витёк. Снизу, из-под земли, из-под лука. Нитка прошла в ушко. Я сложил кудель вдвое, как учила хозяйка в будке у сельпо, когда стояла у меня за спиной и не помогала.

— Городской, а? Чего стоишь. Погости у нас. Тут тепло, а?

Дед. Я воткнул иглу в левый край разрыва, в мокрую землю. Земля взяла иглу с коротким сопротивлением, а дальше легко. Протянул кудель на правый край. Стянул. Края сошлись на ширину ладони. Под ними, в сходящейся щели, что-то отодвинулось вглубь.

— Вас много, а я одна. А ты заходи, заходи, я тебе из-под прилавка.

Галина Семёновна. Второй стежок. Косой, наискосок, как в задней стенке будки, углом за углом. Третий стежок лёг рядом со вторым.

— Ну-ну-ну, клиент, до воды, только до воды, дальше я тебя не зову, а до воды что ж не дойти, по-соседски.

— Молодой человек, наблюдение у вас домашнее, а дом, по-моему, здесь, я записала, заходите, раз записаны.

— Мы тут с какого года, молодой человек. С какого года мы тут. Заходите, у нас чисто.

Голоса шли не по очереди, а как в очереди: все сразу, каждый про своё. Все звали к себе. Все звали вниз. Никто из них не был здесь. Это я знал, потому что баба Поля сидела днём у бани с веником, а Витёк в это время спал в двухэтажке с открытым балконом, носом в подушку.

Не откликаться. Я не откликался. Я шил.

На пятом стежке первой замолчала баба Поля. Не оборвалась, не захрипела, а просто перестала, как перестаёт радио за городом. На шестом замолчал Витёк, на половине своего «и…». На седьмом Галина Семёновна. На восьмом Кузьма Демьянович, Потап Ильич и Алевтина Сергеевна, все втроём, разом. На девятом стежке кудель кончилась. Я завязал хвосты узлом, своим, двойным, не хозяйкиным. Дед замолчал последним. Он успел ещё сказать «а?», как говорил всегда, когда ждал, что ему ответят.

Ответа он не получил. Я сидел на корточках над грядкой, с пустой иглой в руке, и слушал, как ничего не слышно.

Шов лежал поперёк грядки, кривой, косой, в девять стежков, с узлом сбоку. Земля под ним перестала подниматься и опускаться. Лук сидел в ней перьями вниз, как и сидел. Это уже было не моё дело, а хозяйкино. Я положил ладонь на шов. Шов был сухой. Он держал. Он держал с первого раза, и я просидел над ним дольше, чем нужно было, потому что в будке у сельпо он не держал с первого раза и хозяйка доштопывала за мной.

Хозяйка смотрела из окна. Ухват она держала по-прежнему поперёк. Губы у неё сложились в одно слово, короткое. Вслух она его не сказала. Я прочёл его с губ. Это было не «ешь».

В дом я вошёл с крыльца, как к себе. Дверь в сени открылась влево, не вправо.

В сенях пахло хлебом, которого не было. Зеркало на стене не было повёрнуто к стене. Мимо него я прошёл, глядя себе под ноги: что оно показывает, я помнил по Купале. Дверь в кухню стояла открытой. Печь, стол под клеёнкой, ходики с гирей-шишкой. Половицы здесь были крашены охрой. У меня дома такой нет, а здесь ею крашено было давно, до блеска, по этому блеску ходили лет сто.

На половицах были следы.

Маленькие. Почти детские, по размеру, как у ребёнка лет семи. Мокрые. Каждый след, кроме мокрого отпечатка, оставил на краске царапину: полумесяц, маленький, глубокий, там, где у ботинка каблук. На каблуке стояла набойка, железная. Она царапала охру при каждом шаге. Следы шли от порога кухни к двери подпола, обходили её кругом, по часовой, вплотную

к доскам, но не на доски. Потом ещё кругом. Потом от двери, тем же ходом, обратно к порогу, в сени, на крыльцо, вниз со ступенек, в сторону Нижнего. Следов было много. Ходили тут не одну ночь и не две.

Хозяйка стояла посреди этого круга, на своей двери, маленькая, на досках, ногами в мокрых следках. Ухват она перехватила пониже и упёрла рогами в доски у себя под ногами.

— Не наш. — Это она сказала мне, глядя не на следы, а на меня. — И не твой.

Я присел у следов на корточки, с краю круга. Трогать их не стал. Ладонь положил рядом, на крашеную доску, в ладони от двери.

Из доски тянуло холодом. Не землёй, не погребом. Форточкой в январе: тонко, сквозняком, у которого нет конца, потому что никто не встанет и не закроет. Дед говорил, запертый узел тёплый, как кот. Дед говорил, дверь на ходу не греется.

— Хозяйка, кто это ходит? — Я убрал ладонь. — Я не спрашиваю, что там внизу. Я спрашиваю, кто сюда ходит и чего он кружит. Если вы знаете. А если не знаете, скажите, что не знаете, я пойму.

— Ходит, хозяин, ходит, а дверь не трогает, да кружит, кружит, как кот у крынки, а я стою, с Купалы стою, а он кружит. Не наш он, не наш, да не твой тоже, не из дому, да не из-под дому. Маленький, а каблук с подковкой, подковкой половицу мне портит, а половица помнит, половица всё помнит, сто лет помнила, а он портит. А ты на дверь не ступи. Не ступи, хозяин, не ступи. Хозяйка сказала.

Голос у неё здесь был тот же, что дома, из-за печи. Только тише, чем из-за печи, и без «ешь».

— Он к вам или ко мне ходит, хозяйка? — Я встал. Колени затекли: на корточках у грядки я просидел дольше, чем на корточках сидят. — Я к тому, что если ко мне, то я с ним поговорю. А если к вам, то вы скажите, с чем он ходит, а я уже дальше сам.

— Ни ко мне, ни к тебе, хозяин, а к ней. — Она стукнула пяткой по двери у себя под ногой, один раз, негромко. — К ней ходит. Слушает, что ли. Дверь на него не отзывается, а на тебя отзывается, вот он и ходит, и ходит, а ты вон что, ты ладошку клал. Клал, я видела. Больно ладошке?

— Холодно.

— Холодно, да. — Она кивнула, один раз, по-птичьи. — А было тепло. При деде твоём было тепло, при прадеде. Ноги на ней грела, как на печи. А теперь стою в следках мокрых, да стою, а куда я с неё.

Я пошёл по следам к порогу, не наступая на них. У самого порожка, на крашеной половице, между двумя мокрыми полумесяцами, лежала монета.

Жёлтая, с ноготь, тяжёлая на вид, с чеканкой, которую я не разобрал: не орёл, не герб, что-то с ветками. Она лежала так, как кладут на видном месте, чтобы нашли. Как кладут чаевые.

Рука к ней не пошла. Я стоял над ней и смотрел. Пока я смотрел, монета сворачивалась.

Края её поднялись, как у листа, который сохнет на солнце. Жёлтое ушло в зелёное, потом в тёмное, потом в мокрое. Она свернулась трубочкой, покатилась на половицу и легла. Берёзовый лист, скрученный, с чёрной точкой у черешка, какой бывает в веничной вязке. С него на охру стекла капля.

Лист остался лежать, где лёг. Брать его я не стал бы и за деньги, тем более что он ими только что был.

Хозяйка с двери сказала за моей спиной:

— Да не бери. Да не бери, хозяин, не бери, а ты и не берёшь, умница, а ты иди, куда следы идут. А я с тобой схожу. Дверь без меня до петухов постоит, а он нынче уже был, он два раза за ночь не ходит.

Ухват она прислонила к двери, рогами в доски, как ставят на часах. Ухват стоял сам, без неё, на своей двери. Хозяйка сошла с двери, впервые при мне, на мокрый след. След под ней зашипел, как вода на каменке.

Следы вели вниз, к Нижнему, к бане.

На тропке они терялись в траве и опять находились на мокрых досках у поленниц, на пороге Клавдииной бани, на крышке колодца: полумесяц, полумесяц. Хозяйка шла рядом, по левую руку, ростом мне до пояса, в сбитом платке. Шла она быстро, птичьим шагом. На следы она не смотрела. Смотрела она всё время на меня, снизу, из-под платка.

Серое с гуся сидело у колодца на журавле и бормотало моё слово сверху. Оно было уже с собаку. Хозяйка щёлкнула в его сторону пальцами, не поднимая головы. Бормотать оно перестало. Ростом оно при этом не убавилось ни на палец.

Баня в Изнанке стояла там же, с другой руки, с вывеской задом наперёд. Под её стеной, у скамейки для остывающих, росли лопухи. В лопухах лежало всё.

Ключи на верёвочке. Очки с одним стеклом: почтальонша днём у бани щурилась без них. Вставная челюсть, розовая. Пионерский горн, зелёный. Ошейник с бляхой «ПОЛКАН». Детская варежка, на резинке, без пары. Галоша, чёрная, большая, мужская, с байковым нутром. Всё лежало рядами, как в бюро находок, где никто ничего не находит. Всё было сухое, хотя трава кругом стояла в росе.

А над лопухами, у самой стены, воздух был не воздух.

Пятно. Размером с кота, если кот лёг. Какого оно было цвета, я сказать не могу. Лопухи над ним стояли, как над костром, когда костёр уже прогорел.

Галоша лежала ближе всех. Пока мы стояли, она сдвинулась. Сама, на палец, носком к пятну. Потом ещё на палец. Потом носок её ушёл в пятно. Галоша уходила так, как уходит в воду с мостков: без звука, с кругом, с лёгким чмоком. За носком ушла пятка. Байка мелькнула и пропала. Галоши не было.

Лопухи стояли, как стояли.

Хозяйка рядом со мной была без ухвата, впервые за всё время, что я её знаю. Руки она сложила на груди, под фартуком, крест-накрест, как складывают, когда больше нечем держаться.

— Это не прореха, хозяин.

— А что это?

— Прореха это дырочка, прореху заштопал да пошёл, а это дыра. Да не чужая дыра, не чужая, а твоя. Из твоего. Из-под дому. Выстудили, вот оно и пошло. Дверь на ходу не греется, а что из-под неё выстужено, то тут, у бани, вылезло, где ничьё лежит, а ничьё, оно всегда первое уходит. Галошу съела. Галоша ничья, галошу не жаль. А как ничьё кончится, оно, хозяйка сказала, за чьё примется. За ложечки. За курочек.

Слово «дыра» она сказала просто, как говорят «печь» или «ведро». Так у неё и вышло, что дыра у меня теперь есть, как есть печь.

Я смотрел на лопухи, где лежали ключи, очки, челюсть, горн и ошейник, рядами, а галоши не было. Алевтина Сергеевна в своём листе в клетку записала всех, у кого течёт: кто чихает, у того прореха. У бани не жил никто. У бани некому было чихать. На её карте этого места не было. На бумаге с печатью Лао Чжана его тоже не было, ни в одной графе.

— Куда оно ест, хозяйка? Куда галоша ушла?

— А вот этого я тебе не скажу, хозяин, не потому что не хочу, а потому что не знаю, а не знаю, так и не скажу. — Она разжала руки и опустила их вдоль фартука. — Ты это сам. Сам теперь. Я с тобой схожу, куда дойду, а в дыру я не хожу. Там не моё.

Следы в набойках шли мимо лопухов, по мокрой земле, к банной двери. Я пошёл за ними. Они довели меня до порога. На пороге они были. Через порог лежал один, последний, прямо на доске, половинкой, носком наружу. Дальше шли ко мне на Верхнюю.

Я стоял и смотрел на этот след, пока не понял, что смотрю не туда. Следы на пороге шли не в баню. Они шли из бани.

Он не вылез из моего подпола и не ушёл сюда, к себе. Он пришёл сюда через баню, как я. С той стороны. Из села. Через Евсея Кузьмича, мимо журнала, без росписи. Пошёл ко мне, покружил у двери, положил монету, которой нет. Ушёл обратно, той же дорогой. В село. Он там живёт, среди нас, и днём, наверно, здоровается.

— Хозяйка, вы в баню со мной?

— Не хожу я через деда Жара, хозяин, у нас свои двери, а ты иди, лицом иди, да скажи ему, да не забудь, не забудь, хозяин, скажи. — Она отступила на шаг, в лопухи, ростом с кочергу, маленькая, без ухвата. — А дома я тесто поставила. Завтра праздник. Пироги с утра, ты не проспи. Хозяйка сказала.

В баню Изнанки я вошёл лицом. Прошёл её насквозь: парилку, мыльню, где не было ни пара, ни воды. У порога тамбура я сказал громко, не бормоча:

— Спасибо, хозяин.

Уши открылись с хлопком. Пар ударил в лицо, горячий, мокрый, берёзовый. В каменке трещало. Евсей Кузьмич сидел на табурете, в ватнике. Из-за ворота у него пар валил так, как не валил с четырёх часов. Он поднял на меня глаза, похожие в этом свете на угли. Зашипел он раньше, чем открыл рот.

— Опять наследили. Опять, гражданин, сыростью, при вас, при вас же, я тут сижу, у меня журнал, никто не входил, с вашей росписи ни одна душа, а на полке, посмотрите сами, идите посмотрите, я вставать не буду, я вахтёр.

Я пошёл и посмотрел.

На полке, на второй ступени, на сухой горячей доске, где от пара высыхает всё за минуту, стоял мокрый отпечаток маленького каблука. Один. С полумесяцем от набойки. Рядом с ним лежал берёзовый лист, скрученный трубочкой, с чёрной точкой у черешка. Веники висели на гвозде запаренные, все до одного, ни один не был снят. Каблук стоял к парилке. Носок, которого не было, смотрел в предбанник, на дверь, в село. Он опять прошёл. Без росписи. Только что, прямо передо мной.

Глава 4. Маленькая услуга

Пироги стояли на столе в два ряда, на полотенце, горбами вверх.

Семь штук. Восьмой лежал отдельно, на тарелке, разрезанный на четыре части. От разреза шёл пар. Печь была натоплена с ночи. В кухне пахло капустой, яйцом и чем-то сладким, по-моему, яблоком, хотя яблокам в июле было ещё рано. Половик лежал на своём месте, гладко, ворсом в одну сторону. Под половиком лежал люк. Я помнил о нём так, как помнят о больном зубе в день, когда он молчит.

Из-за печи, негромко, без «ешь», сказали:

— Праздник, хозяин.

Больше ничего не сказали. Я сел и взял четвертинку с тарелки. С капустой. Вторая оказалась с яйцом и луком, с тем самым, из грядки. Её я ел медленнее.

Спал я с двух до семи. Кроссовки стояли у лавки носками к двери, как я их поставил ночью, вернувшись из бани. В Изнанке я видел, куда идут следы в набойках. Сюда, на Верхнюю. Ладонь на половик я не клал. Не в праздник.

Витёк пришёл к восьми, в сапогах, в чистой рубахе, с кепкой в руке, а не на голове. Сапоги он снял в сенях сам, без напоминания, и вошёл в носках: один серый, второй чёрный. Пирог он увидел раньше, чем меня.

— Андрюха, с праздником. Я сегодня без яиц, я подумал, у тебя сегодня и так. — Он сел, взял четвертинку, откусил и дальше говорил с ней. — Я тебе анекдот принёс, новый, к празднику. Сидят два мужика на берегу, Петров день. У одного удочка, у другого нет. Тот, что без удочки, говорит: а я Петру молюсь, он сам рыбак был, он даст. Час сидят, два сидят. У того, что с удочкой, ведро полное, а у этого пусто. Он кверху: Пётр, ну как же так? А сверху: а я думал, ты за компанию сидишь.

Рассказал он, как всегда, серьёзно, с паузами в нужных местах, и под конец посмотрел на меня, проверяя. Смех у меня вышел честный: удочки у меня не было тоже.

— А ты, Витёк, который носок надевал первым?

— Серый. — Он посмотрел на ноги и поменял их местами, будто от этого что-то менялось. — А чёрный потом. Это у меня примета: если с утра носки разные, то день будет и такой и сякой. Вот увидишь.

Вниз мы пошли пешком. Коляска стояла у двухэтажки с пустым баком: в праздник в Живине не заправляли. Село было пустое по-воскресному, только больше, чем обычно. Бабки в платках с утра уехали к обедне в Живино. На чём, я не видел, их просто не было: ни у колодца, ни на лавках, ни на крыльце у Клавдии. Лавка под черёмухой стояла без деда. Авоська висела на штакетине, пустая.

У сельпо было не пусто.

На крыльце стояла Галина Семёновна в белом колпаке с кружевом, праздничном, и держала перед собой ящик. Ящик был фанерный, почтовый, с клеймом, перевёрнутый вверх дном. Из ящика ничего не сыпалось, потому что сыпаться было нечему. Перед крыльцом стояли Клавдия Петровна с тазом, почтальонша в очках с двумя стёклами, Потап Ильич с ведром и двое из будки у фермы, с термосом на двоих. Говорила Галина Семёновна поверх всех, никому, ящику.

— Я вам не бюро находок. Ложки казённые. Алюминиевые, по описи райпо, с восемьдесят девятого года, я за них расписывалась. Не ничьи! Казённые! — Ящик она поставила на перила дном вверх и хлопнула по дну ладонью. — А она разве спросила? Она не спросила. Я утром пришла, ящик на месте, ложек нет. Ни одной. А у ящика на полу такое, что я тряпкой ткнула, а тряпка ушла. Который хлеб и спички, иди посмотри. Ты смотритель, тебе и смотреть.

«Который хлеб и спички» был я. Я поднялся на крыльцо и зашёл.

В сельпо пахло хлебом и хозяйственным мылом, как всегда. И ещё чем-то, чего вчера не было: сырой землёй, как из открытого погреба. Ящик с ложками стоял под прилавком у кассы, где стоял всегда. Из него Галина Семёновна выдавала ложки санаторским к кефиру, санаторские пили кефир тут же, у окна, а ложки оставляли на подоконнике, откуда она их собирала вечером и пересчитывала. Сегодня на подоконнике было пусто. Санаторских в праздник не было, кефир с утра никто не пил. У ящика, на крашеных досках, лежало пятно.

Размером с кота. Вчера у бани в Изнанке такое же лежало в лопухах, здесь оно лежало на досках. Цвета у него не было. Доски под ним были видны и не видны, как дно под рябью. У края пятна лежала половая тряпка, серая, мокрая. Один её угол был не мокрый, а никакой: угла не было, тряпка кончалась раньше, чем должна была.

Я присел на корточки с той стороны, где касса, и стал смотреть. Пятно лежало. Днём оно, похоже, лежало. Вчера в такое ушла галоша, носком вперёд, с чмоком. Хозяйка говорила: ничьё уходит первым. Ложки у Галины Семёновны были по описи, но ночью, в ящике под прилавком, когда их никто не держал в руке, они, выходит, становились ничьими. С описью оно не считалось. Опись лежала у Галины Семёновны, а ложки лежали у него.

— Галина Семёновна, не трогайте его. Ни тряпкой, ни ногой, ни шваброй. — Я вышел на крыльцо, где стояли все. — Оно не тянет. Оно ест то, что к нему подвинулось. Ложки, похоже, стояли слишком близко. Обойдите его пока. Днём оно лежит. А ночью я не знаю.

— Я его обойди. У себя в сельпо. — Галина Семёновна сняла ящик с перил, перевернула дном вниз, заглянула внутрь, хотя знала, что там пусто. — Хорошо. Обойду. Я и райпо обойду, когда ревизия спросит, где ложки. Скажу: не трогала, смотритель велел. — Она посмотрела на меня прямо, по-прилавочному. От этого взгляда мне захотелось вспомнить, не должен ли я ей с прошлого месяца. — Смотритель? Вот и смотри. Пойдём, за одну вещь ты мне ответишь прямо сейчас. Не за ложки. За ложки ты не ответишь, у тебя их нет.

Потап Ильич перехватил ведро другой рукой.

— У меня в сорок девятом году ложки из буфета тоже ушли. Все до одной. — Клавдия Петровна сказала это тазу. — А потом нашлись. У Зинки.

Таз она подвинула ногой на ширину ступни, к крыльцу: занимала очередь на то, чего ещё не объявили.

Подсобка была та же, что в прошлом месяце, когда я искал в ней прореху и нашёл: ящики, мешок с сахаром, запах спичек, хотя их здесь давно не жгли. На гвозде у двери, грифом вниз, висела гитара. Жёлтая, с изолентой на грифе, с одной струной из лески. Висела она тихо. Галина Семёновна встала к ней спиной, как встают спиной к соседу, с кем поссорились давно и до конца.

— Залог. С Купалы. Они её оставили и сказали: до петухов, Семёновна, до первых, мы за ней до света, а ты пока попользуйся. — Костяшек у неё под рукой не было. Она щёлкнула ногтем по ящику, один раз, точку. — Чем я пользуюсь? Я не сплю. Я с Купалы не сплю. Она в полночь начинает. Сама. Вот так висит, никто не трогает, а она перебором, с подвывом, блатное, я такого и в молодости не слушала. До петухов играет. Петухи пропели, она замолчала. Я к ней с тряпкой ходила, с мылом ходила, струны ей ослабила. Она без струн играет. Я пацанам говорила: заберите. А они: залог обратно не берут, Семёновна, залог выкупают, а выкупить нечем. — Она повернулась и посмотрела не на гитару, а на меня. — Я вам не склад и не клуб. Унеси. Бери и неси. Я не продаю. Я не дарю. Я отдаю на руки. Кто смотритель, тот и смотри, где ей висеть.

Торговаться она не собиралась. Это было видно по тому, что она уже отошла от двери, освобождая мне проход к гвоздю.

Я снял гитару с гвоздя. Струны дрогнули под пальцами сами, не оттого, что я их задел. Гудели они тонко, как провода на ветру. Гул не кончился, когда я прижал их ладонью. Гриф был тёплый. Тёплой бывает вещь, если её только что держали.

— Куда её, Галина Семёновна, если не секрет? Обратно хозяевам?

— А это уже ты смотри. — Она открыла мне дверь из подсобки во двор, задним ходом, чтобы я не шёл через магазин, где стояла Клавдия Петровна с тазом. — Мне всё равно, где она будет играть. Лишь бы не у меня. Кефир тебе сегодня со скидкой, по случаю. Ложку не дам.

За задней дверью, у поленницы, стоял Витёк и ждал. Гитару он услышал через стену, по гулу, и обошёл сельпо кругом, чтобы встретить меня там, куда меня выпустят.

— Андрюха, ты её по Центральной не неси. По Центральной с ней нельзя, она там играть начнёт, и ты её задами неси, огородами, там и пацаны сидят, они всегда там сидят, когда Галька их с крыльца сгоняет. — Он посмотрел на гитару так, как смотрят на чужую собаку без поводка. — А я к бабке. Сегодня праздник, бабка без меня за стол не сядет, она ждёт. Я предупредил.

«Я предупредил» он сказал не мне, а гитаре. Пошёл он не по Центральной.

За сельпо, у задней стенки, где я в прошлом месяце штопал прореху косым стежком, сидели трое. На корточках, спиной к стене, лицом к огородам, с кульком семечек на троих. Сидели так, будто ждали автобус, что ходит раз в сутки, и сегодня как раз его день.

Толян посмотрел на гитару у меня в руках. Не на меня. На гитару, на гриф, на изоленту. И кивнул, один раз, первым, раньше, чем я успел что-нибудь сказать.

Я протянул ему гитару. Он взял её за гриф, как берут лопату, и положил поперёк колен. Струны под моей ладонью гудели всю дорогу от подсобки. У него на коленях они замолчали. Не затихли, а замолчали, как замолкает ребёнок, когда в комнату входит тот, кого он ждал.

— Ну вот. — Толян сплюнул шелуху в лопухи. — Венец у тебя, начальник, с угла гнилой, я ещё с крыльца смотрел, а ты всё ходишь.

Про гитару он не сказал ни слова. Гитара была дома.

— Начальник, чисто по-братски, это не торг. — Серый сидел ближе к стене. Коробок у него на этот раз лежал на колене, плашмя, как бумага, какую сейчас зачитают. — Торг, это когда ты хочешь, а мы не даём. А тут наоборот. Тут у нас есть, а ты ещё не знаешь, что хочешь. Мелкий.

Мелкий сунул руку в карман, по привычке глубоко, и вынул её с биркой. Жёлтая, пластиковая, на пистоне, с бычком в каске. Переворачивать её не требовалось: номер я знал наизусть. Он подержал её на ладони, не протягивая, как показывают котёнка, если его ещё не решили отдать.

— А чё, ну типа, присматривали же. Я её ещё тогда снял, на берегу, когда она лежала, а ты спал. Толян сказал: сними, а то уплывёт. Я снял. Она у меня в кармане была всё время, я с ней спал, честно, я её и в сельпо носил, и к Галине, и… — Он осёкся на «и», сам, без Толяна, и закрыл рот.

Серый взял коробок с колена и повернул его на ребро.

— Цена одна. Одна маленькая услуга, когда попросим. Не деньги. Не водка. Не услуга большая, а маленькая, это в названии, мы ж не звери. Когда, не скажем, потому что сами не знаем. Как попросим, так и услуга. Руку жать не будем, у нас на руку не жмут. У нас на слово.

Я стоял и смотрел на бирку у Мелкого на ладони. Бирка была та. Без неё фотография рытвины на отмели была просто фотографией рытвины. С ней у меня в кармане лежало то, чего у компании «не пропадало». Свидетели были: Потап, Дуня, Витёк, Мелкий на берегу. Бирка была вещь. С вещью ходят к людям. Про маленькую услугу я знал только то, что знал про гитару до подсобки: висит тихо.

— У Каменской в договоре под звёздочкой стояла строка. — Я сказал её так, как она там стояла, мелким шрифтом, слово в слово. — «Работник несёт полную материальную ответственность, в том числе за имущество компании, находящееся за пределами её территории».

Серый поднял голову. Коробок он положил обратно на колено. Лицо у него сделалось такое, какое бывает у мастера, когда ему показали чужую работу, и работа хорошая.

Он подался вперёд, ближе, чем надо.

— Ты понял, да? Ты её прочёл, ты её понял, ты за ней к нам пришёл. Я тебе её разложу, мне самому в кайф. Имущество компании за пределами территории, это что? Это корова, которая ушла. Это бычок, который к тебе под дом ходил. Он чей? Он компании. Он где? За пределами. Ты подписал, и он твой. На ответственности. Он у тебя под домом лежит, он у тебя ночами ходит, он у тебя полсела перепугал, а ты, работник, за него материально. Всё, что он съел, с тебя. Всё, что он сломал, с тебя. А если он сам сдох, то ты, выходит, имущество компании не уберёг. Не подписал, молодец. Хорошая бумага. Мы б так же написали.

Он откинулся к стене, довольный, и подбросил коробок. Поймал он его за спиной, вслепую.

— А ты сейчас за одну железку, по-братски, гитару отдал и услугу взял. Мы б и это так же написали.

Я молчал. Говорить было нечего. По обеим бумагам он был прав, а по одной из них я и был тем работником: прочёл и не подписал. А по второй выходило, что я всё остальное.

Мелкий протянул бирку. Я её взял. Она была тёплая, как гитара, и пахла карманом. В кармане джинсов она легла к телефону, к заметке с её номером и к розовой бумажке с печатью. Все три вещи теперь были про одно. Ни одна ничего не доказывала.

Серый сложил коробок с коленом, как закрывают папку.

— Так. Это первое. А второе ты сам увидишь.

Второе я увидеть не успел. Второе выболтал Мелкий.

Ещё с четверть часа мы сидели все четверо: я на перевёрнутом ведре. Ведро Мелкий притащил из-за сарая с корточек, боком, по-крабьи. Толян перебирал струны на коленях, не играя. Проверял, все ли на месте. Гитара молчала. Говорили про ложки.

— К ложкам мы отношения не имеем. Ложки не наш отдел, это тебе Семёновна сама подтвердит, она нас с Купалы дальше крыльца не пускает. — Серый вытянул ноги, посмотрел на свои кеды, на мои кроссовки и обратно на кеды. — Спросит, я ей так и скажу, слово в слово. Было по описи, стало по нулям, а мы при чём. Мы на крыльце.

Мелкий лузгал.

— А чё, бирка-то одна. Ну типа, настоящая одна, а первую ж мы ещё в пятницу…

Толян шикнул. Не словом, а так, как шикают на кота: воздухом сквозь зубы. Мелкий остался на полуслове, с шелухой на губе, и посмотрел на свои кроссовки, потом на гитару, потом в кулёк. Кулёк он сжал так, что семечки в нём хрустнули.

Я посмотрел на Серого. Серый посмотрел на коробок.

Коробок он поставил на колено торчком, свечкой, как ставил у меня на штакетине.

— Начальник, по-братски. Ты бирку просил? Просил. Бирку ты получил? Получил. Вот она у тебя в кармане, настоящая, одна, другой такой нет. Договор был на бирку. А на то, что у нас такая одна, договора не было. Мы же не звери, мы же черти. Мы нарисовали. Это другое. Нарисованная, это не бирка. Это картинка на пластмассе с номером. Нарисовали мы, скажу честно, с запасом, Мелкий рисовал, у него рука. Одну продали. В пятницу. Комбинату.

— Кому на комбинате?

— А вот это не наш отдел. Через кого, не скажу, потому что не знаю, а кто знает, тот не скажет. Знаю, что взяли. Знаю, что заплатили. — Он посмотрел на меня, впервые за весь разговор, прямо, и в хвосте сказал быстро, скороговоркой, то, ради чего всё это говорилось: — Сказали, что от тебя. От смотрителя. Ты ж не против? Ты ж не знал.

— Я против.

— Поздно, начальник. Проданное обратно не берут, это у нас как у Семёновны с залогом. — Он опять спрятал коробок. — Зато комбинат теперь думает, что ты с нами. А с нами, это уже не один. Это, считай, бригада.

У Мелкого в карманах, когда он поднимался с корточек, стукнуло. Негромко, пластмассой о пластмассу, как стукают в кармане ключи, если их больше, чем дверей. Он сунул руки в карманы и больше их оттуда не вынимал.

Толян встал последним, с гитарой. Посмотрел на сельпо, на крышу, на водосток, оторванный с угла, и сказал водостоку:

— Течёт у неё. Второй год.

Больше он о сельпо за всё лето не сказал ничего. Ей, по-видимому, и этого хватило бы на ремонт, если бы она слышала.

Мука у меня была. Полпачки, в сенях, на полке за солью, оставшаяся с тех пор, как хозяйка пекла из своей, а мою не трогала. Моя была городская, из пакета, с датой.

К ночи я вытряхнул её на пол тонко, ладонью, как сеют. Половик пошёл на лавку, свёрнутый, под голову. Мука легла от люка до порога в сени и дальше, через сени, до наружной двери. Дорожка вышла в две ладони шириной, белая, с бортиками. По ней не прошла бы и мышь, не расписавшись. Люк под дорожкой лежал, где лежал, с кольцом, с двумя гвоздями, с запиской химическим карандашом. Записку я в тысячный раз не прочёл.

Хозяйка на муку по полу не сказала ничего. Ни за печью, ни в сенях. Пирог к ужину стоял на столе, как стоял с утра, только пять штук из семи. Про то, что я собираюсь спать на лавке в кухне, в телогрейке, ногами к печи, она тоже не сказала ничего. Это молчание само по себе было событием. Я его запомнил.

В одиннадцать я лёг. Свет не включал: белая ночь за окном шла на серое, в кухне было видно стол, печь, дорожку муки, белую, как снег в тёмном дворе. Кроссовки стояли под лавкой, носками к люку. Будильник я поставил на половину пятого, по привычке, хотя знал, что до половины пятого не досплю.

Ходики шли. Печь остывала. За печью перекладывали кудель, с места на место, как перекладывают, когда не спится. Этот звук был единственным в доме, какой я мог назвать. Я лежал на спине, на свёрнутом половике, и слушал. Не ладонью. Ушами, как все.

За полночь из-под пола потянуло холодом.

Не из щели у люка, а отовсюду сразу: из половиц, из-под лавки, из углов, как тянет из открытого погреба, когда крышку откинули совсем. Холод шёл по полу низом, не выше колена, и дошёл до лавки. Телогрейка его не держала. Он прошёл сквозь неё, как вода сквозь сетку.

Потом по половицам пошли шаги.

Маленькие. Частые. С цоканьем, как ходит по линолеуму собака с нестриженными когтями, только это были не когти, это было железо: набойка, полумесяцем, на каждом шаге, звонко, по доске. Шаги шли от люка. По кругу. Вплотную к крышке, по часовой, как шли в Изнанке по охре. Круг. Ещё круг. Муки под ними я не слышал. Мука под ногой шуршит, а эти шли по доскам, как по чистым. Доски отзывались им звонко, без шороха.

Я хотел встать.

Это было простое дело: спустить ноги с лавки, встать, включить свет. Выключатель был у двери, в трёх шагах. Ногам я дал команду: вниз. Ноги остались лежать. Руке дал команду: вверх. Рука лежала вдоль телогрейки. Она была моя, я чувствовал её до последнего пальца. Она не поднималась. Так бывает во сне, когда бежишь, а ноги идут по киселю. Только во сне об этом знаешь потом, а здесь я знал сейчас. Глаза были открыты. Я видел потолок, край печи, угол стола. Я слышал, как цокает по кругу у люка. И я лежал.

Это длилось не долго. Это длилось столько, сколько шаги шли по кругу: три круга, четыре. Я считал. Считать я мог.

На пятом круге на плечо мне, на телогрейку, легла ладонь.

Маленькая. Сухая. Тёплая так, как тёплая печь в октябре. Она легла, не сжимая, и осталась. Рядом с лавкой, в темноте, со стороны печи, негромко, очень близко к уху, сказали:

— Не вставай, хозяин. Не твоя ночь.

Голос был тот же, что из-за печи, что из окна в Изнанке. Без «ешь», без «хозяйка сказала». Шёпотом, какого я от неё никогда не слышал. Ладонь на плече не двигалась. Я не двигался тоже. Теперь это было уже не потому, что не мог.

Шаги у люка сделали ещё круг, медленнее, будто то, что ходило, слушало нас с хозяйкой так же, как мы его. Потом цоканье оторвалось от круга и пошло. К порогу. Через сени. К наружной двери. Дверь не скрипнула, не стукнула, не отошла, но цоканье за ней продолжилось, глуше, по крыльцу, по ступеням, вниз, в сторону Нижнего, к бане, пока не кончилось в траве.

Холод ушёл следом. Не сразу: сперва из углов, потом из половиц, потом из-под лавки, последним он вытек из щели у люка, как вытекает вода из опрокинутого ведра, последней струйкой.

Ладонь с плеча сняли. У печи зашуршало, и кудель за печью снова переложили с места на место.

Ноги у меня опустились на пол сами. Я сел на лавке. Руки были мои, ноги были мои. Я включил свет.

Крюк на двери в сени стоял в петле. Заложен он был изнутри, мной, в одиннадцать, и за ночь не шевельнулся. Через него прошли, как проходят через открытое. Или не через него.

Дорожка лежала нетронутая.

Белая, ровная, с бортиками, от лавки до порога и через сени до двери. Ни следа. Ни полумесяца, ни царапины, ни мышиной строчки. Мука лежала так, как я её сеял. Я стоял над ней в носках и смотрел, пока в окне не посерело по-настоящему.

У люка было иначе.

Вокруг крышки, вплотную к её краю, муки не было. Доски там лежали чистые, крашеные, а мука отступила от крышки ровным кругом, на ладонь, с валиком по краю, как отступает пыль от того места, куда дунули. Кто-то дунул. Или кто-то дышал тут, низко, у самого пола. На круг дыхания хватило.

Я присел и посмотрел на валик. Он был ровный, как по циркулю. В одном месте, с той стороны, что к печи, валик был разорван. Не ногой. Чем-то узким, с палец, как проводят по муке краем ложки.

У порога в сени, на доске между мукой и щелью под дверью, лежало мокрое. Пятнышко. С ноготь, с набойку, круглое, одно. Я тронул его пальцем. Холодное. Как капля с крыши в ноябре. Высыхать оно не спешило, и мука вокруг него осталась сухой.

Хозяйка о ночи не сказала ни слова. Когда я поднял голову от порога, на столе на тарелке лежала четвертинка пирога, с капустой, тёплая. Я её съел, стоя, над мукой. Муку сметать не стал. Пусть лежит до вечера.

В половине пятого будильник сработал. Я его выключил на ощупь и пошёл к колодцу с ведром: вода у меня кончилась ещё вчера, а воскресенье, по-моему, кончилось вместе с холодом, задолго до будильника.

У колодца я встал, как в прошлый раз, слева от плиты, и поднял телефон. Палка появилась, одна, подрагивая. Телефон дёрнулся в руке: пришло сообщение. Не чат бывшего отдела, не банк. Номер был тот самый: в прошлом месяце с него приходила претензия без подписи.

«Имущество компании получено. Благодарим за содействие. Пока».

Палка пропала, как только я дочитал. Я стоял с ведром у колодца, в пятом часу утра, в телогрейке, с мукой на носках, и перечитывал по памяти четыре слова. Теперь они лежали у меня в телефоне, а телефон лежал в доме, где не ловит. Содействия я никому не оказывал. У компании ничего не пропадало. Получено было то, чего не было, от того, кто не давал.

Бирка лежала в кармане. Настоящая. Одна. Другой такой, сказал Серый, нет.

Он не сказал, сколько таких, других.

Глава 5. Шпилька

Бак у коляски был полный, а Витёк был в пиджаке.

Пиджак был чёрный, с плеча кого-то шире, с одной пуговицей. Под ним была та же рубаха, что вчера. Кепку он надел козырьком вперёд, по-рабочему. В Краснобойск у него были свои дела. Какие, он не говорил, я не спрашивал: человек в пиджаке в понедельник утром сам знает, зачем он в пиджаке.

— Садись, Андрюха, яиц нет, сиди спокойно. Я в Живине заправился, у Кольки, он мне в долг до четверга, и я ему за это свечи поменяю, и ты держись, там после переезда асфальт кончается, а потом опять начинается, только хуже.

Переезд мы прошли без дрезины. Шлагбаум стоял поднятый, оранжевый жилет сидел на будке и ел огурец. За Живином коляска пошла по асфальту гладко, насколько у неё это получалось. На гладком Витьку стало скучно. Он заговорил. Не анекдотом. Про себя.

— Я тут жил, Андрюха. В Краснобойске. Полгода. Ты не знал, а я жил. В общаге при ПТУ, на третьем этаже, комната на четверых, а нас было двое, я и Санька из Живина, он потом в армию ушёл, а я вернулся. — Он сбавил газ перед ямой, не объехал её, а принял, всей коляской. — Там, Андрюха, все по пропускам. Вахтёрша внизу, и ты ей пропуск, и она тебе кивает, и ты идёшь. И нечисть там тоже по пропускам, я видел. Стоит внизу, с бумажкой, ждёт, когда вахтёрша кивнёт. Я подумал: зачем мне нечисть по пропускам, если у меня дома она без пропусков, по-соседски. И вернулся. Там скучно. Там все одинаковые. Там даже пацаны одинаковые, у них у всех одна кепка на всех, честное слово, я считал.

Я ехал и смотрел на дорогу. Полгода у Витька прошли в двух фразах. В обеих не было ни одной жалобы. В городе так о полугоде не рассказывают. В городе за полгода успевают пожаловаться на начальника, на зарплату и на погоду, и на то, что полгода прошли.

— Ты мне раньше не говорил.

— А ты не спрашивал. — Он поправил кепку, не снимая руки с руля. — Ты же городской. Я думал, тебе это как про соседскую собаку: жил и жил.

Краснобойск начался с шиномонтажа и растяжки «Мясо — это жизнь». Витёк высадил меня у автовокзала, у столовой, где стоял тополь с шелухой, и уехал по своим делам в пиджаке, пообещав быть у сельпо к вечернему ПАЗу. Терминал транспортной компании стоял за автовокзалом, в бывшем складе с новой вывеской. Внутри была стойка, весы и девушка в фирменной жилетке. Нашла она меня по фамилии раньше, чем я её назвал: фамилия стояла на коробках.

Коробок было четыре. Стояли они у стены стопкой, перемотанные скотчем вдоль и поперёк. На каждой чёрным маркером, крупно, стояла моя фамилия, а под ней одно слово: «Хрупкое». Почерк был Зои Максимовны. Этим почерком она семь лет писала мне «квартплата до пятого» на листочке под магнитом.

На верхней коробке под скотчем лежала записка, в файлике. «Ключи отдала паре с котом. Кот ваш диван одобрил. Остальное здесь. З.». Без «здравствуйте», как всегда.

Одна коробка, нижняя, была помята с угла. Терминал заклеил угол своим скотчем, синим. Девушка в жилетке попросила проверить, раз хрупкое. Я надрезал синий скотч ключом. В углу, в газете, лежала кружка. Белая, с золотой каймой, с надписью по кругу: «Лучший сотрудник месяца». На донышке, маркером, рукой нашей секретарши, стояло: «март».

Кружка была цела. В марте ещё было, за что.

Я завернул её обратно в газету и заклеил угол. Девушка дала расписаться в получении, в графе, где стояло моё имя. Расписался я своей рукой. Это, по-видимому, было единственное место за месяц, где мою подпись ждали, а не подсовывали.

— Вам ещё передали. — Она достала из-под стойки конверт, обычный, почтовый, без марки. — Вчера. Женщина. Сказала, для Ладыгина, вместе с коробками. Я не вскрывала.

Вскрыл конверт тут же, у стойки. Внутри лежала картонка с золотым обрезом: сертификат на стрижку в салоне «Шпилька», улица Ленина, без срока. Внизу, от руки, наклонным почерком с длинными хвостами: «От постоянных гостей „У Кати“. С уважением». Подписи не было. Вместо подписи стоял маленький рисунок: лисий хвост.

До вечернего ПАЗа было шесть часов. Волосы не стрижены с мая. Коробки девушка согласилась подержать до вечера за просто так, если я скажу, где в селе лучше брать мёд.

— У бабы Поли, на Нижнем конце. Только она сама должна предложить, у неё так. Если спросите, не продаст. — Я подумал и добавил то, что знал про Нижний конец: — И бидон не трогайте. Бидон у неё отдельно.

Салон «Шпилька» стоял на Ленина, между нотариусом и «Пятёрочкой». Вывеска у него была та же, что я видел в первую неделю из окна ПАЗа: розовая, с каблуком, изогнутым так, что в нём читалось всё, кроме обуви. Внутри пахло лаком, кофе и чем-то сладким, от чего хотелось сесть.

Кресло мне досталось у окна, по сертификату, без очереди. Очередь была: две женщины под сушилками, с фольгой на головах, обсуждали третью, отсутствующую, и обсуждали так, будто она сидела между ними.

— А я ей говорю: Люда, он же женатый. А она мне: ну и что, я тоже.

— Так она ж и права.

Девушка у кассы приняла сертификат, посмотрела на лисий хвост, посмотрела на меня и крикнула в глубину: «Лилит, к тебе!»

Лилит вышла из глубины не спеша, на каблуках, по плитке, с ножницами в одной руке и чашкой кофе в другой. Вот что было видно: укладка, маникюр, халат мастера с вырезом, глаза, а в них столько внимания ко мне, сколько полагалось по сертификату. А что полагалось увидеть, стало ясно через полминуты, по тому, как притихли под сушилками.

Она поставила кофе на столик, встала у меня за спиной и положила обе руки мне на плечи, на телогрейку, прямо на неё, и не поморщилась.

— Котик, давай честно. Ты сюда пришёл не стричься. Стричься ты мог в Живине у Тамары за триста рублей, она всех мужиков под одно стрижёт, и тебе бы пошло. Ты пришёл, потому что ты закрыт. У тебя блок. Ты полгода не в ресурсе, я это вижу по шее. Мастер шею видит сразу. И ты хочешь, чтобы тебя открыли. Расслабься, котик. Мастер свободна до трёх.

Пальцы у неё были тёплые. Голос был такой, каким в рекламе говорят «вы этого достойны». Под сушилками замерли обе.

Я смотрел на неё в зеркало. Смотрел так, как смотрел месяц назад на Галину Семёновну, когда у той из-под халата вместо подола висело мокрое, и я это увидел, а она увидела, что я увидел. Здесь вместо подола было другое. Я увидел не рожки и не хвост. Я увидел, чего она хочет. Не от меня. Вообще.

Ей было скучно.

Это стояло у неё за глазами так ясно, как ценник на полке: скучно, с утра, с этого города, с этих женщин в фольге, с котиков, открывающихся по сертификату один за другим, как консервы. Я был сто первый. Ей хотелось одного: чтобы хоть что-нибудь сегодня было не так, как вчера. И «котик» она сказала мне голосом Галины Семёновны, когда та говорит «вас много, а я одна».

— Стричься, Лилия Адамовна. — Имя было на бейджике, маленьким шрифтом под «мастер Лилит». — Покороче, чтобы до августа хватило. У меня в селе парикмахера нет, а ПАЗ отсюда в восемнадцать сорок, и мне ещё четыре коробки на автовокзал нести. Если успеем до шести, я вам буду очень благодарен.

Руки с плеч она убрала не сразу. Сначала посмотрела в зеркало на меня, потом на себя, потом опять на меня, как смотрят на весы, которые показали не то.

Она взяла ножницы со столика, двумя пальцами, за самые кольца.

— Коробки. Котик, ты пришёл ко мне и говоришь про коробки.

— Четыре. Хрупкое. Из Петербурга, транспортной. Мне их до шести забрать, там девушка в жилетке до шести. — Я снял телогрейку и повесил на крючок у кресла, сам, пока она держала ножницы. — Вы стригите, а я расскажу, если вам интересно, что в них. Хотя ничего интересного. Книги, кружка и свитер.

Ножницы щёлкнули у меня над ухом вхолостую, один раз.

Стригла она меня сорок минут. Молча первые десять, с таким лицом в зеркале, какое бывает у продавца, когда покупатель не торгуется и платит сразу. Потом стала говорить, и говорила не мне, а зеркалу, вполголоса, загибая пальцы свободной руки, по одному.

— Так. Свет — да, я его ставила, он тёплый, он всем идёт. Запах — да. Руки — да. Голос — да, я голосом на прошлой неделе нотариуса… неважно. Вырез — да. Так почему же, клиент, ты смотришь на меня, как на квитанцию за свет? — Палец она загнула последний и опустила руку. — На коробки ты смотришь лучше. Ты на коробки смотришь, как другие на меня смотрят. Что в них?

— Я же сказал. Книги, кружка и свитер.

— Свитер. — Она сказала это зеркалу, с таким отвращением, будто я назвал болезнь. — У меня сто мужиков в этом кресле сидело, Лилит, Лилит, а ты про свитер.

Стригла она при этом так, как меня не стригли никогда. Не быстро, а точно: каждый раз ножницы шли туда, куда нужно, и ни разу туда, куда не нужно. Волосы падали на пелёнку одинаковыми прядями. Затылок она выбрила машинкой с таким нажимом, что я понял: это назло. Назло она умела лучше, чем за деньги.

Под сушилками меня обсуждали уже вместо третьей.

У кассы, когда девушка в жилетке пробивала сертификат, на стойке лежала картонка с гематогеном. «Иванушка. Для гемоглобина». Такая же лежала у Галины Семёновны на сдаче. Комбинат доставал до Ленина, как до колодца.

Лилит стояла у двери в глубину, с кофе, уже холодным, и смотрела мне вслед. В зеркале у кассы я видел её, а она видела, что я вижу. Это было хуже, чем свитер.

— Клиент. От Кати сертификат? — спросила она в спину, спокойно, голосом без рекламы.

— От постоянных гостей. С лисьим хвостом.

Кофе она вылила в раковину у кассы, при всех, одним движением.

— Понятно. Передай Кате, что до Ильина ещё три недели.

Что это значило, я не знал. Стрижка была лучшая в моей жизни. Это я знал по тому, как на меня посмотрела девушка в жилетке на терминале, когда я пришёл за коробками: как на человека, которого подменили.

ПАЗ в восемнадцать сорок подошёл с фарами, как всегда. Коробки встали в проход, одна на другую, у передней двери, потому что сзади сидели две женщины с рассадой, всё той же, а места у них не было.

Валерий Степанович посмотрел на коробки в зеркало. Потом на меня. Потом на мою стрижку.

— Хрупкое, значит. Парень, у меня тут не хрупкое возят, у меня тут возят то, что не бьётся. Рассаду. Бабку с ведром. Мужика после праздника. А хрупкое у меня на каждой яме прыгает, и я за него не отвечаю, у меня принцип. — Он тронул, не закрыв дверь. На первой же яме коробки подпрыгнули все четыре. — Вот. Это ещё асфальт.

Женщины с рассадой на мою стрижку посмотрели тоже и ничего не сказали: им было не до того, они снова сбились на седьмом ящике.

Ворчал он до села на каждой яме. Ямы он знал по именам: «Берёзовая», «у Кольки», «после бани». На «после бани» коробки подпрыгнули так, что верхняя съехала в проход и я поймал её коленом. В коробке стукнуло. Глухо, не фарфором. Книгой.

У сельпо в десять минут восьмого стоял Витёк с коляской, без пиджака, в рубахе. Дела у него, судя по лицу, были сделаны, а судя по рубахе, сделаны тяжело. На крыльце стояла Галина Семёновна и держала в руках длинную коробку, такую, в каких возят удочки, с серым пакетом поверх и штрихкодом на пакете.

Коробку она вынесла на крыльцо сама, не дожидаясь, пока я подойду, и подала с крыльца вниз, как подают с телеги.

— Антенна. Усилитель. Привоз в понедельник, я говорила. Гонщик. Ну, теперь позвонишь кому-нибудь. Есть кому?

Вопрос был не из тех, что задают на пункте выдачи. Она и не ждала ответа. Она посмотрела на мою стрижку и щёлкнула ногтем по коробке, точку.

— В районе стригся. У этой. Ладно. Расписываться не надо, ты у меня в ячейке и так записан.

Витёк взял коробку с антенной и две мои, остальные две я взял сам. Поехали мы вверх по Верхней с таким грузом, что коляска на корнях садилась на раму. Мимо лавки без деда. Мимо колодца. Калитка моя была чистая, мел с неё смыло вчерашним дождём, которого я не заметил.

В сени коробки вошли все четыре. В кухню не вошла ни одна.

Это было не так, что дверь закрыта. Дверь стояла открытой, как всегда. Я взял верхнюю коробку, повернулся с ней к кухне, и дверной проём оказался уже коробки. На ладонь. Я посмотрел на косяки. Косяки стояли, где стояли. Я повернул коробку боком. Проём стал уже на ладонь с другой стороны. Из-за печи, не громко, сказали то, что я и так уже понял:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.